



# 10 ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (часть 5)

## Оглавление

Солоухин «Каравай заварного хлеба» .....	1
Солоухин «Ножичек с костяной ручкой» .....	12
Солоухин «Мститель» .....	16
Солоухин «Подворотня» .....	19
Солоухин «Белая трава» .....	22
Александр Куприн. «Allez!» .....	25
О'Генри «Последний лист» .....	28
Тэффи. «О нежности» .....	32
Леонид Андреев «Друг» .....	38
Мария Парр «ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» .....	42

## Солоухин «Каравай заварного хлеба»

По ночам мы жгли тумбочки. На чердаке нашего общежития был склад старых тумбочек. Не то чтобы они совсем никуда не годились, напротив, они были ничуть не хуже тех, что стояли возле наших коек, – такие же тяжелые, такие же голубые, с такими же фанерными полочками внутри. Просто они были лишние и лежали на чердаке. А мы сильно зябли в нашем общежитии. Только Рябов даже оставил однажды включенной сорокасвечовую лампочку, желтенько светившуюся под потолком комнаты. Когда утром мы спросили, почему он ее не погасил, Только ответил: «Для тепла...»

Обреченная тумбочка втаскивалась в комнату. Она наклонялась наискосок, и по верхнему углу наносился удар тяжелой чугунной клюшкой. Тумбочка разлеталась на куски, как если бы была стеклянная. Густокрашенные дощечки горели весело и жарко.



Угли некоторое время сохраняли форму то ли квадратной стойки, то ли боковой доски, потом они рассыпались на золотую, огненную мелочь.

Из печи в комнату струилось тепло. Мы, хотя и сидели около топки, старались не занимать самой середины, чтобы тепло беспрепятственно струилось и расходилось во все стороны. Однако к утру все мы мерзли под своими одеялишками.

Конечно, может быть, мы не так дорожили бы каждой молекулой тепла, если бы наши харчишки были погуще. Но шла война, на которую мы, шестнадцатилетние и семнадцатилетние мальчишки, пока еще не попали. По студенческим хлебным карточкам нам давали четыреста граммов хлеба, который мы съедали за один раз. Наверное, мы еще росли, если нам так хотелось есть каждый час, каждую минуту и каждую секунду.

На базаре буханка хлеба стоила девяносто рублей – это примерно наша месячная стипендия. Молоко было двадцать рублей бутылка, а сливочное масло – шестьсот рублей килограмм. Да его и не было на базаре, сливочного масла, оно стояло только в воображении каждого человека как некое волшебное вещество, недостижимое, недоступное, возможное лишь в романтических книжках.

А между тем сливочное масло существовало в виде желтого плотного куска даже в нашей комнате. Да, да! И рядом с ним еще лежали там розовая глыба домашнего окорока, несколько белых сдобных пышек, вареные вкрутую яйца, литровая банка с густой сметаной и большой кусок запеченной в тесте баранины. Все это хранилось в тумбочке Мишки Елисеева, хотя на первый взгляд его тумбочка ничем не выделялась среди четырех остальных тумбочек: Генки Перова, Тольки Рябова, Володьки Пономарева и моей.

Отличие состояло только в том, что любую нашу тумбочку можно было открыть любому человеку, а на Мишкиной красовался замок, которому, по его размерам и тяжести, висеть бы на бревенчатом деревянном амбаре, а не на столь хрупком сооружении, как тумбочка: знали ведь мы, как ее надо наклонить и по какому месту ударить клюшкой, чтобы она сокрушилась и рухнула, рассыпавшись на дощечки.

Но ударить по ней было нельзя, потому что она была Мишкина и на ней висел замок. Неприкосновенность любого не тобой повешенного замка вырабатывалась у человека веками и была священна для человека во все времена, исключая социальные катаклизмы в виде слепых ли стихийных бунтов, закономерных ли революций.

Отец Мишки работал на каком-то складе неподалеку от города. Каждое воскресенье он приходил к сыну и приносил свежую обильную еду. Красная, круглая харя Мишки с маленькими голубыми глазками, запрятанными глубоко в красноте, лоснилась и цвела, в то время как, например, Генка Перов был весь синенький и прозрачный, и даже я, наиболее рослый и крепкий подросток, однажды, резко поднявшись с койки, упал от головокружения.

Свои припасы Мишка старался истреблять тайком, так, чтобы не дразнить нас. Во всяком случае, мы редко видели, как он ест. Однажды ночью, проснувшись, я увидел Мишку сидящим на койке. Он намазал маслом хлеб, положил сверху ломоть ветчины и стал жрать. Я не удержался и заворочался на койке. Может быть, втайне я надеялся, что



Мишка даст и мне. Тяжкий вздох вырвался у меня помимо воли. Мишка вдруг резко оглянулся, потом, напустив спокойствие, ответил на мой вздох следующей фразой:

– Ну ничего, не горюй, как-нибудь переживем.

Рот его в это время был полон жеваным хлебом, перемешанным с желтым маслом и розовой ветчиной.

В другую ночь я слышал, как Мишка чавкает, забравшись с головой под одеяло. Ничто утром не напоминало о ночных Мишкиных обжорствах. На тумбочке поблескивал тяжелый железный замок.

К празднику Конституции присоединилось воскресенье, и получилось два выходных дня. Тут-то я и объявил своим ребятам, что пойду к себе в деревню и что уж не знаю, удастся ли мне принести ветчины или сметаны, но черный хлеб гарантирую. Ребята попытались отговорить меня: далеко, сорок пять километров, транспорт (время военное) никакой не ходит, на улице стужа и как бы не случилось метели. Но мысль оказаться дома уже сегодня так овладела мной, что я после лекций, не заходя в общежитие, отправился в путь.

Это был тот возраст, когда я больше всего любил ходить встречать ветра. И если уж нет возможности держать против ветра все лицо, подставишь ему щеку, вроде бы разрезаешь его плечом, и идешь, и идешь... И думаешь о том, какой ты сильный, стойкий; и кажется, что обязательно видит, как ты идешь, твоя однокурсница, легкомысленная, в сущности, девочка Оксана, однако по взгляду которой ты привык мерить все свои поступки.

Пока я шел по шоссе, автомобили догоняли меня. Но все они везли в сторону Москвы либо солдат, либо ящики (наверное, с оружием) и на мою поднятую руку не обращали никакого внимания. Морозная снежная пыль, увлекаемая скоростью, перемешивалась с выхлопными газами, завихрялась сзади автомобиля, а потом все успокаивалось, только тоненькие струйки серой поземки бежали мне навстречу по пустынному темному шоссе.

Когда настала пора сворачивать с шоссе на обыкновенную дорогу, начало темнеть. Сперва я видел, как поземка перебегает дорогу поперек, как возле каждого комочка снега или лошадиного помета образуется небольшой барханчик, а каждую ямку – человеческий ли, лошадиный ли след – давно с краями засыпало мелким, как сахарная пудра, поземным снежком.

Назад страшно и оглянуться – такая низкая и тяжелая чернота зимнего неба нависла над всей землей. Впереди, куда вела дорога, было немного посветлее, потому что и за плотными тучами все еще брезжили последние отблески безрадостного декабрьского дня.

По жесткому шоссе идти было легче, чем по этой дороге: снег проминался под ногой, отъезжал назад, шаг мельчился, сил тратилось гораздо больше.

Меня догнал человек – высокий усатый мужик, одетый поверх пальто в брезентовый плащ и закутанный башлыком. Этого небось не продувает. Случайный попутчик шагал



быстро, и я старался тянуться за ним, хотя и знал, что для моей «марафонской» дистанции такой темп не годится, что я обессилею раньше, чем доберусь до села.

Ему-то что! Он идет лишь до Бабаева. Скоро он будет дома, а мне идти еще двадцать километров.

Дома самовар поставит ему жена, чайку горяченького. Или, может, достанет из печки щей. Они, конечно, постные, остыли, чуть тепленькие. Но все равно, если взять ломоть хлеба потолще...

Я почувствовал, что желудок мой совершенно пуст и, для того чтобы дойти до дому, я обязательно должен что-нибудь съесть, хотя бы жесткую хлебную корку со стаканом воды. Некоторое время я шел, вспоминая, как однажды, еще до войны, съел с морсом целую буханку хлеба. А то еще, помнится, я варил себе обеды, когда жил не в общежитии, а на частной квартире. Это тоже было до войны. Я шел на базар и покупал на рубль жирной-прежирной свинины. Она стоила десять рублей килограмм. Значит, на рубль доставался мне стограммовый кусок. Эту свинину, изрезав на одинаковые кубики, я варил с вермишелью. Белые кубики плавали сверху, и, когда с ложкой вермишели попадал в рот кубик, во рту делалось вкусно-вкусно... Продавали до войны и сухой клюквенный кисель. Разведешь розовый порошок в стакане кипятку...

Тут у меня в голове гвоздем засела мысль: надо будет у этого мужика, когда он дойдет до своего дома, попросить кусок хлеба, – может, даст. Если есть дом, значит, есть и хлеб в доме. Все же не голодовка теперь. Но вот ведь какая досадная психология! Когда ты сыт и у тебя все есть, ничего не стоит спросить у других людей и хлеба, и еще чего-нибудь. Но когда на этот кусок вся надежда...

Значит, что же, вроде милостыни получится? «Подайте Христа ради!» Так, что ли? Вовсе не милостыня. Вместе идем. Почему не спросить?

Однако я-то знал, что мой язык ни за что не повернется, чтобы и вправду в виде милостыни попросить кусок хлеба. А может, попроситься ночевать? До его деревни километра три да там двадцать. Не дойдешь. А если ночевать пустит, то небось и поест даст. Факт! Вот жаль, я неразговорчивый человек. Другой на моем месте теперь казался бы ему лучшим другом. Бывают такие говоруны. Теперь он сам бы уговаривал меня зайти к нему переночевать или просто чайку попить. Или, может быть, щей... Они хоть и остыли теперь, чуть тепленькие...

– Война, брат, переживать надо! – говорил между тем спутник, не сбавляя ходу.

Наверное, мой вид, мое демисезонное пальтишко, моя усталость, – наверное, все это возбудило сочувствие, иначе с чего бы это он меня взялся утешать:

– Теперь все переживают. На фронте переживают – смерти ждут каждый момент; здесь матерям да женам за своих страшно – опять переживания. А у кого уж убили, кому похоронные пришли, тем и подавно слезы и горе. А мы с тобой еще что! Руки, ноги целы, идем к себе домой, а не где-нибудь в окопе лежим, значит, как-нибудь переживем.

Мне вспомнилось, что точно такой же фразой утешал меня Мишка, сидя на кровати и уминая ветчину с маслом. «Тебе-то что не пережить!» – зло подумал я про спутника. Но



все же через некоторое время остыл. «Сердиться мне на него за что? За что злиться? Что у него дом ближе, чем у меня, или что одет теплее? Я так на него злюсь, – думал я, – как будто я уж попросил хлеб, а он отказал. Или насчет ночлега. Я ведь не спрашивал. За что же злиться? А может, он и хлеба даст, и ночевать пустит, – ничего не известно».

Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка:

– Ну, бывай здоров! Не падай духом...

Может быть, на полсекунды опередил он меня со своим прощанием. А может быть, если бы и минуту стояли на перепутье, все равно я не осмелился бы спросить, – кто знает. Так или иначе – мужик пошел к своему самовару и к своим щам, а я остался один среди ночи, вошедшей теперь в полную силу.

Метель становилась сильнее. Местами колею перемело так, что шагов десять приходилось идти, увязая почти до колен. Радостно было после этого опять почувствовать под ногами твердую опору. Хорошо еще, что в руках была палка, которой я нащупывал дорогу там, где перемело.

Когда-то здесь прошла, должно быть, колонна машин, и, хоть колею давно замело снегом и узкий санный путь проторился над ней, все же колея существовала, и палка находила ее.

Как ни старался я вообразить, что глаза самой красивой девчонки со всего курса, синие глаза Оксаны смотрят на меня в эту минуту и, значит, надо идти как можно тверже и прямее, не сгибаться под ветром, не поворачиваться к нему спиной, как ни почетна была моя задача принести каравай хлеба ребятам из общежития, ночь взяла свое – мне стало жутко.

Теперь кричи не кричи, зови не зови – никто не услышит. Нет поблизости ни одной деревеньки. Да и в деревнях все люди сидят по домам, ложатся, наверно, спать, прислушиваясь к вою ветра в застрехах, в трубе, в оконных наличниках. Даже если кошка дома, то рады и за кошку, что сидит на стуле возле печки, а не шляется где-нибудь.

Я почувствовал, что, несмотря на холод, неприятная липкая испарина выступила по всему телу и словно бы вместе с ней ушли, улетучились последние силенки. Ноги сделались как из ваты, под ложечкой ощутилась некая пустота, и безразличие овладело мной. Скорее всего, спасло меня то, что не на что было присесть. Если бы я нес хоть пустяковый чемоданишко, то, наверное, сел бы на него отдохнуть и, конечно, заснул: раскопали бы на другой день, наткнувшись на островерхий бугорок снега.

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти не продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень.

То, что мне не дойти, было ясно. Но в то же время (может быть, единственно от молодости) не верилось, что я в конце концов здесь погибну!





Случится что-нибудь такое, что поможет мне, выручит, и я все-таки дойду, и сяду на лавку около стола, и мать достанет мне с печи теплые валенки, и я наемся, а потом закурю, и ничего не будет слаще той глубокой, той долгожданной затыжки. Нет, что-нибудь произойдет, что я все-таки не останусь здесь навсегда. Ведь это так реально: теплый дом, и мать, и валенки, и еда. Это ведь все существует на самом деле, а не придумано мною. Нужно только дойти – и все. А дома есть и валенки, и, конечно, есть у матери припрятанная на случай махорка...

Вдруг я заметил, что мои йоги (а я глядел теперь только на свои ноги) как бы отбрасывают тень, да и от самого меня простерлась вперед темная полоса. Я оглянулся. Случилось именно самое невероятное, самое чудесное и волшебное: по застарелой колее, беспорядочно разбрасывая свет фар то вправо, то влево, то кверху, то книзу, пробирався настоящий автомобиль! Я еще не знал, какой он: легковой, или полуторка, или трехтонка, или, может быть, «студебеккер», но это безразлично – главное, автомобиль, и свет, и люди, и, как и следовало ожидать, я спасен, я не останусь замерзать в этой заснеженной черноте!

О том, что автомобиль может не остановиться, а проехать мимо, у меня не было и мысли. Он для того только и появился здесь, чтобы подобрать и спасти меня, как же он может не остановиться? Если бы я знал, что он может не остановиться, я бы встал посреди дороги и растопырил руки. А то я шагнул в сторонку и, кажется, даже не сделал самого простого – не поднял руки, настолько очевидно было, что меня нужно подобрать. И вот автомобиль (это оказалась полуторка), разбрасывая снег, проехал мимо меня. Ночь хлынула в пространство, на время отвоёванное у нее человеческим светом, залила его еще более густой, еще более непроглядной темнотой.

Полуторка не ехала, а ползла. В другое время мне ничего не стоило бы нагнать ее пятью прыжками и перекинуть себя через борт, едва коснувшись ногой какого-нибудь там выступа. Но теперь мне показалось, что если я, собрав последние крохи сил, побегу, и вдруг не догоню машину или не сумею в нее забраться, и сорвусь, и упаду в снег, то уж, значит, и не встану. Вот почему я не побежал.

Отъехав шагов двести, машина остановилась. И неудивительно. Удивительно было другое: как она могла оказаться на этой дороге и как она вообще по ней пробиравлась?

Я понял, что машина остановилась, когда около нее начало мелькать белое пятно света от электрического фонарика. Я догадался: люди вышли из кабины и осматривают колеса и яму, в которую они провалились.

Вопрос теперь решался просто: кто скорее? Я скорее добреду до машины или машина тронется с места? Иногда мотор начинал рычать усиленно и надрывно, даже стон и свист слышались в его рычании. У меня обрывалось сердце: сейчас пойдет, выкарабкается из ямы! Но рычание стихало, снова мелькал фонарик, и вскоре я стал различать силуэт машины, еще более темной, чем сама ночь.

Когда я добрел до автомобиля, людей около него уже не было. Вот уж снег из-под задних колес долетел до меня – так я приблизился к цели. Вот уж я вижу, как бешено крутятся колеса, стараясь зацепиться хоть за какую-нибудь опору, как дрожит деревянный кузов. Вот уж три метра от кончиков моих протянутых рук до заднего борта, вот уж два, вот уж



один метр... Только бы теперь, в эту последнюю секунду, не дернулся, когда я почти ухватился за борт.

Идти три метра к кабине и спрашивать разрешения мне не под силу. Кое-как я нашарил ногой железный выступ пониже кузова, кое-как перевалился через высокий борт и мешком упал на дно. В эту же секунду автомобиль, зацепившись наконец за что-то, подпрыгнул и дернулся с места.

Застарелая колея, по которой пробирался автомобиль, проходила в четырех километрах от моего дома. Значит, мне надо было уследить момент, выбрать самую близкую к дому точку дороги, чтобы выпрыгнуть из кузова и идти дальше. Но как только я лег на дно кузова, как только почувствовал, что не нужно больше шагать и вообще двигаться, так и задремал. Сколько я дремал, неизвестно. Очнулся же от толчка. Мне показалось, что темные силуэты изб и ветел рядом с дорогой знакомы, что это и есть то самое село, возле которого мне надо выпрыгнуть из кузова: отсюда до моего дома четыре километра. Перевалившись через задний борт, я отпустил руки и упал в снег. Грузовик сразу растворился в метельной темноте. Люди в кабине так и не знают, что подвезли случайного попутчика, больше того, не дали ему замерзнуть.

Приглядевшись к избам и деревьям, к порядку домов, я понял, что грузовик либо увез меня дальше, чем мне нужно, либо куда-нибудь в сторону, потому что деревня, в которой я очутился, была мне совершенно незнакома. Значит, не было у меня выхода, как стучаться в одно из черных окон в надежде, что затеплится оно красноватым огоньком коптилки, и проситься переночевать.

Все избы были мне одинаково незнакомы, все они были для меня чужие, но я зачем-то брел некоторое время вдоль деревни, как бы выбирая, в какую избу постучаться, и неизвестно почему свернул к одной из изб (ничем она не отличалась от остальных, разве что была похуже). Есть, должно быть, у каждой из русских изб эдакое свое «выражение лица», которое может быть либо суровым, либо жалким, либо добрым, либо печальным. Наверное, этим-то подспудным я и руководствовался, выбирая, в какое окно постучать. А может быть, просто понадобилось некоторое время, чтобы собраться с духом и окончательно утвердиться в мысли, что стучать придется неизбежно, так лучше уж не тянуть.

Сначала я постучал в дверь на крыльце, потом, осмелев, потюкал ноготком по морозному стеклу окна. Сквозь двойные рамы не доходило мое тюканье до нутра, до избыного тепла, а может быть, сливалось с шумом ветра и с разными метельными звуками. Тогда я начал стучать сгибом пальца, и вскоре что-то в глубине дома сдвинулось, скрипнуло, вздохнуло, и голос совсем близко от меня за дверью спросил:

— Вам кого?

— Переночевать бы мне, с дороги сбился, а метель.

— Эко чего придумал! Могу ли я, одинокая баба, мужика ночевать пустить!

— Да не мужик я, ну, вроде бы... одним словом, студент.

— Откуда идешь-то?



– Из Владимира.

– Чай, не из самого Владимира пешком?

– То-то что из самого.

Было слышно, что женщина за дверью с трудом вытаскивает деревянный засов из петель, двигает его из стороны в сторону, чтобы скорее вытащить.

Душное избяное тепло, как только я вдохнул его несколько раз, опьянило меня, сразу разморило. Я сидел на лавке, не в силах пошевелиться, и блаженно озирался по сторонам.

Женщина (ей на вид было лет пятьдесят – пятьдесят пять, – значит, надо считать, что около сорока) достала с печи валенки, а из печки, погремев ухватом, – небольшой чугунок.

– Щи на обед варила. Да теперь уж, чай, остыли, чуть тепленькие.

Сбывалось все точь-в-точь как представлялось мне, когда я шел еще рядом с незнакомым мужиком! И ломоть хлеба оказался таким же толстым и тяжелым, каким я и ощущал, когда его еще не только не было в моей руке, но и не было никакой надежды на то, что он будет.

Я ел, а тетя Маша (так звали женщину) смотрела на меня, сидя напротив, думая о своем.

– Сколько исполнилось-то? – наконец спросила она.

– Семнадцать.

– Значит, на будущий год, если она не кончится, и тебе туда?

Потом тетя Маша помолчала, как бы решая про себя, говорить ли дальше или уж не говорить, и стала рассказывать. Она рассказывала, а я слушал, закулив после ужина (остался табачок от сына, именно от того самого, про которого она теперь рассказывала). И шли минуты, и шли часы, и проходила за окном метельная военная ночь... И проходила тут жизнь русской женщины, тети Маши, впусившей меня среди ночи и теперь все рассказывающей, рассказывающей, рассказывающей...

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. Значит также, я показался ей благодарным слушателем, а то ведь, бывает, и просится из души, а передать это человеку нет никакого желания. И то правда: единственно, чем я мог ответить тете Маше на ее приют и доброту, было мое благодарное слушание. Она рассказала, что сначала от сына не было никаких вестей, а потом пришло письмо, и писано оно было чужой рукой. Писал Митя о том, что лежит в госпитале в Москве, и звал ее повидаться.

Главная часть рассказа тети Маши состояла из подробного описания всех преград, которые встали перед ней на пути к Москве и которые она по очереди преодолевала. Не так-то просто было попасть в Москву осенью сорок первого года, когда Москва была почти что осажденным городом. Если бы я в то время мог записать эту ее дорогу, а





теперь только чуть-чуть подправить, то это была бы целая повесть и не нужно было бы ничего добавлять.

В Москву она все-таки прошла и Митю в госпитале отыскала. Он оказался раненый и, кроме того, весь обмороженный. Тетя Маша как на него взглянула, так сразу поняла, что не жилец. Села возле него, хотела хоть ночь, хоть семь ночей, а просидеть рядом. Ведь и сто просидишь, если последний сын и ночи его тоже последние...

Но сидеть не пришлось: очень уж Митя просил молочка. Он, оказывается, был большой любитель молока и в мирное время в покос или в жнитво выпивал сразу по крынке. И парное тоже любил. С детства еще приучился, чтобы прямо из подойника – кружку молока: «Большая была кружка у нас...» Тут тетя Маша даже принесла эту кружку с кухоньки, чтобы я мог посмотреть, какая она. Кружка была алюминиевая, во многих местах помятая. Может статься, Митя еще мальчонкой играл с ней или, по крайней мере, часто ронял.

Уж если мать сумела добраться до Москвы и даже пройти в самую Москву, то, наверное, она сумела бы достать раненому сыну молока, если бы это было возможно. Но не было молока в Москве поздней осенью сорок первого года. Тетя Маша решила ехать за молоком в свою деревню.

Тут она опять подробно рассказала мне о своих дорожных приключениях: и когда ехала из Москвы в деревню, и когда везла Мите бидон самого жирного коровьего молока.

– Я бы и больше бы захватила. Не испортилось бы. Да в чем же его повезешь?

Тетя Маша замолчала надолго. И я, оказывается, не ошибся, спросив ее тихим голосом:

– Ну и что же, успел он попить-то или уж не успел?

– Успел, – ответила тетя Маша.

Постлано мне было на печке. Вскоре сквозь подстилку (старый тулуп и байковое одеялишко поверх него) стало доходить до тела устойчивое, ровное тепло кирпичей. Засыпая, я думал: вот шел я вдоль деревни, и все избы были для меня одинаковые. А что затаилось в них, за ветхими бревнами, за черными стеклами окон, что за люди, что за думы, – неизвестно. Вот приоткрылась дверь в одну избу, и оказалось, что живет в ней тетя Маша со своим великим и свежим горем. И уж нет у нее мужа, нет сыновей и, надо полагать, не будет. Значит, так и поплывет она через море жизни одна в своей низкой деревенской избе. И остались ей одни воспоминания. Единственная надежда на то, что особенно вспоминать будет некогда: надо ведь и работать.

Если бы я постучался не в эту избу, а в другую, то, наверно, открыла бы мне не тетя Маша, а тетя Пелагея, или тетя Анна, или тетя Груша. Но у любой из них было бы по своему такому же горю. Это было бы точно так же, как если бы я очутился в другой деревне, четвертой, пятой, в другой даже области, даже за Уральским хребтом, в Сибири, по всей метельной необъятной Руси.

...Утром я без особых приключений добрался до родительского дома. Мать испекла мне большой круглый каравай заварного хлеба. Он от обычного черного хлеба отличается тем, что заметно сластит и немного пахнет солодом.



Переночевав дома ночь, положив драгоценный каравай в заплечный мешок, я отправился обратно во Владимир к своим друзьям в студеное, голодном общежитии.

Оказывается, виноваты были не одна только метель, не одно только то обстоятельство, что я из Владимира вышел, не поев как следует, и потому быстро обессилел. Оказывается, сами по себе сорок пять километров зимней дороги – нелегкое дело. Когда я прошел двадцать пять километров и вышел на асфальтированный большак и, таким образом, идти мне осталось двадцать километров, я был почти в таком же состоянии, как и в позапрошлую ночь в метель, когда, если бы не случайный грузовик, замерзать бы мне среди снежного поля.

Кроме того, я, должно быть, простудился за эти два дня, и теперь начиналась болезнь. Мне сделалось все безразлично. Какое бы интересное дело, ожидающее меня в будущем, ни вспомнилось, мне казалось оно теперь совсем неинтересным и скучным: не хочу летом купаться в реке, не хочу ходить на рыбалку, не хочу читать книги, не хочу в лесу жечь костер, не хочу ходить в кино и есть мороженое, безразлично мне даже, есть ли на свете Оксана, самая красивая со всего нашего курса синеглазая девчонка. Я давно заметил за собой, что если у меня пропадает интерес ко всему на свете, значит, я начинаю хворать.

Пройдя по асфальту километр, я почувствовал себя совсем плохо и стал поднимать руку тем редким, можно сказать, редчайшим грузовикам, которые время от времени догоняли меня. Некоторое развлечение состояло в том, чтобы считать эти проходящие грузовики и загадывать, который же из них возьмет меня с собой.

Остановился седьмой грузовик (к этому времени я пробрел еще три километра).

– Ну, куда тебе? – грозно спросил шофер, выйдя из кабины. – Спирт есть?

– Нету, какой может быть спирт?

– Табак, папиросы?

– Нету.

– Сало? Э, да что с тобой разговаривать! – Он пошел в кабину. Угрожающе зарычал мотор.

– Дяденька, дяденька, не уезжайте! У меня хлеб есть, заварной, сладкий. Сегодня утром мать испекла.

Мотор перестал рычать.

– Покажи.

Я достал из мешка большой, тяжелый каравай в надежде, что шофер отрежет от него часть и за это довезет до Владимира.

– Это другое дело, полезай в кузов.

Каравай вместе с шофером исчез в кабине грузовика. Надо ли говорить, что больше я не видел своего каравая. Но, видимо, болезнь крепко захватила меня, если и само



исчезновение каравая, ради которого я перенес такие муки, было мне сейчас безразлично.

Ничего не изменилось в общежитии за эти два дня. Как будто прошло не два дня, а две минуты. Ребята оживились, увидев меня, но тут же поняли, что мне не по себе. Я разделся, залез в ледяное нутро постели и только попросил друзей, чтобы они истопили печку и принесли бы из титана кипятку.

– Комендант запер чердак на пудовый замок (эта новость была самой неприятной, потому что я все никак не мог согреться), а кипятку сколько хочешь. Только вот с чем его?.. Да ты из дому-то неужели ничего не принес?

Тогда я рассказал им, как было дело.

– А не был ли похож этот шофер на нашего Мишку Елисеева? – спросил Володька Пономарев.

– Был, – удивился я, вспоминая круглую красную харю шофера с маленькими синими глазками. – А ты как узнал?

– Да нет, я пошутил. Просто все хапуги и жадюги должны же чем-нибудь быть похожи друг на друга.

– Так ты, что же, так ничего и не ел целый день? – вдруг догадался Генка Перов. – Хоть бы краюху отломил от того каравая.

– Каравай-то я вам нес: думал, обрадую. Сейчас бы разрезали его на куски. С кипятком...

Тут в комнате появился Мишка Елисеев.

– Слушай, – обратились к нему ребята. – Видишь, захворал человек. Дал бы ему чего-нибудь поесть. Не убыло бы.

Никто не ждал, что Мишку взорвет таким образом: он вдруг начал кричать, наступая то на одного, то на другого. Было видно, что при крике у него изо рта вылетают брызги слюны, и это мне, лежащему в ознобе, было почему-то противнее всего.

– А вы что, проверяли мою-то еду? У меня что, амбары с едой? Я тоже как вы, мне на хлебную карточку тоже четыреста граммов дают. Ишь вы, какие ловкие в чужую суму глядеть! Нет у меня ничего в тумбочке, можете проверить. Разрешается.

При этом он, как мне показалось, успел метнуть хитрый лучик на свой тяжелый железный замок.

Напряженность всех этих дней, усталость, мужик, не позвавший меня ночевать, грузовик, проехавший мимо, горе одинокой и доброй тети Маши, сердоболие, которое вложила мать в единственный каравай заварного хлеба (и думает, что я его буду есть теперь целую неделю), бесцеремонность, с которой у меня взяли этот каравай, огорчение, что не принес его в общежитие, заботы ребят, хотевших покормить меня из Мишкиных запасов, его хитрая бесстыдная ложь – все это вдруг начало медленно клубиться во мне, как клубится, делаясь все темнее и зловещее, июльская грозная туча. Клубы росли,



расширялись, подступали горечью к горлу, застилали глаза и вдруг ударили снизу в мозг темной непонятной волной.

– А вот я и проверю!.. – твердо, как мне показалось, сказал я, поднимаясь с койки и путаясь ногами в сбившемся одеяле.

Говорили мне потом, что я спокойно подошел к печке, спокойно взял клюшку, которой мы крушили обычно тумбочки, и двинулся к Мишке. Мишка сначала метнулся, чтобы загородить свою тумбочку грудью, но, значит, свиреп был мой решительный вид, если все же он уступил мне дорогу и даже отскочил к двери.

Остальное я помню хорошо. Привычным жестом наклонил я тумбочку наискось (отметив про себя, что тяжелая, не в пример тем, с чердака) и опустил клюшку на нужное место.

О, сладость бунта! О, треск и скрежет лопающихся скреп в душе и в мире! Разве дело в размерах? Дело в сути ощущений и чувств. Это была моя Бастилия и те засовы на тех воротах, которые придется еще когда-нибудь разбивать.

Я поднял клюшку и раз, и два, и вот уже обнажилось сокровенное нутро «амбара»; покатила стеклянная банка со сливочным маслом, кусочками рассыпался белый-белый сахар, сверточки побольше и поменьше полетели в разные стороны, на дне под свертками показался хлеб.

– Все это съесть, а тумбочку сжечь в печке, – будто бы распорядился я, прежде чем снова укрыться легоньким одеялом. Самому мне есть не хотелось, и даже поташнивало. Впрочем, скоро я забылся, потому что болезнь вошла в полную силу.

Мишка никому не пожаловался, но жить в нашей комнате больше не стал. Его замок долго валялся около печки, как совсем ненужный и бесполезный предмет. Потом его унес комендант общежития.

**1961**

### Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»

Из Москвы мне привезли небольшой перочинный ножичек с костяной ручкой и двумя зеркальными лезвиями. Одно лезвие побольше, другое – поменьше. На каждом – ямочка, чтобы зацеплять ногтем, когда нужно открыть. Пружины новые, крепкие – попрыгаешь, прежде чем откроешь лезвие. Зато обратно – только немного наклонишь, так и летит лезвие само, даже еще и щелкает на зависть всем мальчишкам. Отец наточил оба лезвия на камне, и ножик превратился в бесценное сокровище. Например, нужно срезать ореховую палку. Нагнешь лозу, найдешь то место, где самый изгиб, приставишь к этому месту ножичек – и вот уже облегченно раздалась древесина, а лоза висит почти что на



кожице. Может быть, не все мне поверят, но палку толщиной с большой палец я перерезал своим ножичком с одного раза, если, конечно, взять поотложе, чтобы наискосок.

Чтобы вырезать свисток, напротив, нужна тонкая работа. И тут особенно важна острота. Тупым ножом изомнешь всю кожицу, измочалишь, дырочка получится некрасивая, мохнатая по краям. Какой уж тут свист, одно шипение! Из-под моего ножичка выходили чистенькие, аккуратные свистки.

С 1 сентября открылось еще одно преимущество моего ножа. Даже сам учитель Федор Петрович брал у меня ножик, чтобы зачинить карандаш. Неприятность как раз и произошла на уроке, при Федоре Петровиче. Мы с Юркой решили вырезать на парте что-нибудь вроде буквы «В» или буквы «Ю» (теперь, во втором классе, мы уже знали все буквы), и я полез в сумку, чтобы достать ножичек.

Рука, не встретив ножичка в привычном месте, судорожно мыкнулась по дну сумки, заметалась там среди книжек и тетрадей, а под ложечкой неприятно засосало, и ощущение непоправимости свершившегося холодком скользнуло вдоль спины. Забыв про урок и про учителя, я начал выворачивать карманы, шарить в глубине парты, полез в Юркино отделение, но тут Федор Петрович обратил внимание на мою возню и мгновенно навис надо мной во всем своем справедливом учительском гневе.

– Что случилось, почему ты под партой? (Значит, уж сполз я под парту в рвении поисков.) Встань как следует, я говорю!

Наверно, я встал и растерялся, и, наверно, вид мой был достаточно жалок, потому что учитель смягчился.

– Что случилось, можешь ты мне сказать?

– Ножичек у меня украли... который из Москвы...

Почему я сразу решил, что ножичек украли, а не я сам его потерял, неизвестно. Но для меня-то сомнений не было: конечно, кто-нибудь украл – все ведь завидовали моему ножу.

– Может, ты забыл его дома? Вспомни, подумай хорошенько.

– Нечего мне думать. На первом уроке он у меня был, мы с Юркой карандаши чинили... А теперь нету...

– Юрий, встань! Правда ли, чинили карандаши на первом уроке?

Юрка покраснел, как вареный рак. Ему-то наверняка не нравилась эта история, потому что сразу все могли подумать на него, раз он сидит со мной рядом на одной парте. Про карандаши он честно сознался:

– Чинили.

– Ну хорошо, – угрожающе произнес Федор Петрович, возвращаясь к своему столу и оглядывая класс злыми глазами. – Кто взял нож, подними руку.





Ни одна рука не поднялась. Покрасневшие лица моих товарищей по классу опускались ниже под взглядом учителя.

– Ну хорошо! – Учитель достал список. – Барсукова, встать! Ты взяла нож?

– Я не брала.

– Садись. Воронин, встать! Ты взял нож?

– Я не брал.

Один за другим вставали мои товарищи по классу, которых теперь учитель (а значит, вроде б и я с ним заодно) хотел уличить в воровстве. Они вставали в простеньких деревенских платишках и рубашонках, растерянные, пристыженные: их ручонки, не привыкшие к обращению с чернилами, были все в фиолетовых пятнах. Каждый из них краснел, когда вставал на окрик учителя, каждый из них отвечал одно и то же: «Я не брал...»

– Ну хорошо, – в последний раз произнес Федор Петрович. – Сейчас мы узнаем, кто из вас не только вор, но еще и трус и лгун. Выйти всем из-за парт, встать около доски!

Всех ребятишек, кроме меня, учитель выстроил в линейку около классной доски, и в том, что я остался один сидеть за партой, почудилась мне некая отверженность, некая грань, отделившая меня ото всех, грань, которую перейти мне потом, может быть, будет не так просто.

Первым делом Федор Петрович стал проверять сумки, портфелишки и парты учеников. Он копался в вещичках ребятишек с пристрастием; и мне уж в этот момент (не предвидя еще всего, что случится потом) было стыдно за то, что я невольно затеял всю эту заварушку.

Прозвенел звонок на перемену, потом снова на урок, потом снова, но теперь не на перемену, а идти домой, – поиски ножа продолжались. Мальчишки из других классов заглядывали в дверь, глазели в окна: почему мы не выходим после звонка и что у нас происходит? Нашему классу было не до мальчишек.

Тщательно обыскав все сумки и парты, Федор Петрович принялся за учеников. Проверив карманы, обшарив пиджачки снизу (не спрятал ли за подкладку?), он заставил разуваться, развешивать портянки, снимать чулки и, только вполне убедившись, что у этого человека ножа нет, отправлял его в другой конец класса, чтобы ему не мог передать пропавшее кто-нибудь из тех, кого еще не обыскивали.

Постепенно ребят около доски становилось все меньше, в другом конце класса все больше, а ножичка нет как нет!

И вот что произошло, когда учителю осталось обыскать трех человек. Я стал укладывать в сумку тетради и книжки, как вдруг мне на колени из тетрадки выскользнул злополучный ножичек. Теперь я уж не могу восстановить всего разнообразия чувств, нахлынувших на меня в одно мгновение. Ручаться можно только за одно – это не была радость от того, что пропажа нашлась, что мой любимый ножичек с костяной ручкой и зеркальными лезвиями опять у меня в руках. Напротив, я скорее обрадовался бы, если бы он



провалился сквозь землю, да, признаться, и самому мне в то мгновение хотелось провалиться сквозь землю.

Между тем обыск продолжался, и мне, прожившему на земле восемь лет, предстояло решить одну из самых трудных человеческих психологических задач.

Если я сейчас не признаюсь, что ножик нашелся, все для меня будет просто. Ну, не нашли – не нашли. Может, его кто-нибудь успел спрятать в щель, за обои, в какую-нибудь дырочку в полу. Хватает щелей в нашей старой школе. Но значит, так и останется впечатление, что в нашем классе учится воришка. Может быть, каждый будет думать на своего товарища, на соседа по парте.

Если же я сейчас признаюсь... О, подумать об этом было ужасно!.. Значит, из-за меня понапрасну затеялась вся эта история, из-за меня каждого из этих мальчишек и девчонок унижительно обыскивали, подозревали в воровстве. Из-за меня их оскорбили, обидели, ранили. Из-за меня, в конце концов, сорвали уроки... Может быть, им все-таки легче думать, что их обыскивали не зря, что унизили не понапрасну?

Наверно, не так я все это для себя сознавал в то время. Но помню, что провалиться сквозь землю казалось мне самым легким, самым желанным из того, что предстояло пережить в ближайшие минуты.

Встать и произнести громко: «Ножичек нашелся» – я был не в силах. Язык отказался подчиниться моему сознанию, или, может, сознание недостаточно четко и ясно приказывало языку. Потом мне рассказали, что я, как лунатик, вышел из-за парты и побрел к учительскому столу, вытянув руку вперед: на ладони вытянутой руки лежал ножичек.

– Растяпа! – закричал учитель (это было его любимое словечко, когда он сердился). – Что ты наделал!.. Вон из класса!.. Вон!

Потом я стоял около дверей школы. Мимо меня по одному выходили ученики. Почти каждый из них, проходя, задерживался на секунду и протяжно бросал:

– Эх, ты!..

Не знаю почему, я не бежал домой, в дальний угол сада, где можно было бы в высокой траве отлежаться, отплакаться вдалеке от людей, где утихла бы боль горького столкновения неопытного мальчишечьего сердца с жизнью, только еще начинающейся.

Я упрямо стоял около дверей, пока мимо меня не прошел весь класс. Последним выходил Федор Петрович.

– Растяпа! – произнес он снова злым шепотом. – Ножичек у него украли... Эх, ты!..

**1963**



Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать картошку на школьном участке. Если вдуматься, копать картошку – чудесное занятие по сравнению с разными там умножениями чисел, когда нельзя ни громко высморкаться, ни повозиться с приятелем (кто кого повалит), ни свистнуть в пальцы.

Вот почему все мы, и мальчишки и девчонки, дурачились, как могли, очутившись вместо унылого класса под чистым сентябрьским небом.

Денек стоял на редкость: тихий, теплый, сделанный из золотого с голубым, если не считать черной земли под ногами, на которую мы не обращали внимания, да на серебряные ниточки паутинок, летающих в золотисто-голубом.

Главное развлечение наше состояло в том, что на гибкий прут мы насаживали тяжелый шарик, слепленный из земли, и, размахнувшись прутком, бросали шарик – кто дальше. Эти шарики (а иной раз шла в дело и картошка) летают так высоко и далеко, что кто не видел, как они летают, тот не может себе представить. Иногда в синее небо взвивались сразу несколько шариков. Они перегоняли один другого, все уменьшаясь и уменьшаясь, так что нельзя было уследить, чей шарик забрался выше всех или шлепнулся дальше.

Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, как вдруг почувствовал сильный удар между лопаток. Мгновенно распрямившись и оглянувшись, я увидел, что по загону бежит от меня Витька Агафонов с толстым прутком в руке. Значит, вместо того чтобы бросить свой комок земли в небо, он подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.

Многочисленные лучистые солнышки заструились у меня в глазах, а нижняя губа предательски задергалась: так бывало всегда, когда приходилось плакать. Не то чтобы нельзя было стерпеть боль. Насколько я помню, я никогда не плакал именно от физической боли. От нее можно кричать, орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навертывались слезы на мои глаза от самой маленькой обиды или несправедливости.

Ну за что он теперь меня ударил? Главное, тайком, подкрался сзади. Ничего плохого я ему не сделал. Наоборот, когда мальчишки не хотели принимать его в круговую лапту, я первый заступился, чтобы приняли. «На любака» мы с ним не дрались давным-давно. С тех пор, как выяснилось, что я гораздо сильнее его, нас перестали стравливать. Что уж тут стравливать, когда все ясно! В последний раз мы дрались года два назад, пора бы об этом забыть. К тому же никто не держит обиды после драки «на любака». «Любак» и есть «любак» – добровольная и порядочная драка.

Ни один человек на загоне не заметил маленького происшествия: по-прежнему все собирали картошку; наверное, небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уж не видел ни картошки, ни солнца, ни неба. В горле у меня стоял горький комок, на душе было черно от обиды и злости, а в голове зародилась мысль отомстить Витьке, да так, чтобы в другой раз было неповадно.



Вскоре созрел план мести. Через несколько дней, когда все позабудется, я как ни в чем не бывало позову Витьку в лес жечь теплинку. А там в лесу и набью морду. Просто и хорошо. То-то он испугается один в лесу, когда я скажу ему: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» Нет, я сзади бить не буду, я ему дам прямо в нос. Или отплатить тем же? Раз он меня сзади, – значит, и я его сзади. Только он нагнется за сухим сучком, а я как тресну по уху, чтобы загудело по всей голове. Он обернется, тут-то я ему и скажу: «Ну что, попался на узенькой дорожке?» А потом уж и в нос...

В урочный день и час, на большой перемене, я подошел к Витьке. Затаенное коварство не так-то просто скрывать неопытному мальчишке. Казалось бы, что тут такого: пригласить сверстника в лес жечь теплинку? Обычно уговариваешься об этом мимоходом, никакого волнения быть не может. На этот раз я волновался. Даже в горле стало сухо, отчего голос сделался глухой и вроде бы чей-то чужой. А руки пришлось спрятать в карманы, потому что они вдруг ни с того ни с сего задрожали.

Витька посмотрел на меня подозрительно. Его оттопыренные уши, над которыми нависали соломенные волосенки, покраснели.

– Да уж... Я знаю, ты драться начнешь. Отплачивать.

– Что ты, я забыл давно! Просто пожжем теплинку. А то, если хочешь, палки будем обжигать, а потом разукрасим их. У меня ножичек острый, вчера кузнец наточил...

Между тем положение мое осложнилось. Одно дело – нечаянно заманить в лес и там стукнуть по уху: небось знает кошка, чье мясо съела, а другое дело – весь этот разговор. Если бы Витька отнекивался, отказывался, а потом нехотя пошел, было бы куда все проще. А после моих слов он улыбнулся от уха до уха (рот у него такой, как раз от уха до уха) и радостно согласился:

– Ну ладно, тогда пойдем.

«Вот я тебе покажу «пойдем»!» – подумал я про себя. Пока шли до горы, я всю дорогу старался вспомнить, как он ни за что ни про что ударил меня промежду лопаток, и как мне было больно, и как мне было обидно, и как я твердо решил ему отплатить. Я так все точно и живо вообразил, что спина опять заболела, как и тогда, и в горле опять остановился горький комок, и даже нижняя губа вроде бы начала подрагивать, – значит, я накалился и готов к отмщению.

На горе, где начались маленькие елочки, выпал удачный момент: как раз Витька, шедший впереди меня, наклонился, что-то рассматривая на земле, а ухо его словно бы еще больше оттопырилось, так и просило, чтобы я по нему стукнул что есть силы.

– Смотри, смотри! – закричал Витька, показывая на круглую норку, уходящую в землю. Его глаза горели от возбуждения. – Шмель оттуда вылетел, я сам видел. Давай раскопаем? Может быть, там меду полно.

«Ну ладно, эту норку мы раскопаем, – решил я, – потом уж я с тобой разделаюсь!»

– Надо вырезать острые лопаточки, а ими и копать землю. Нож-то захватил?



Живо-два мы вытесали себе по отличной лопаточке и стали рыть. Дерн тут был такой плотный, что мы сломали по одной лопаточке, потом вырезали новые, а потом уж добрались до мягкой земли. Однако никакого меда или даже шмелиного гнезда в норке не оказалось. Может быть, когда-нибудь здесь вправду водились шмели, только не теперь. А зачем лазил туда шмель, которого увидел Витька, так мы и не узнали.

На опушке леса в траве мы тотчас наткнулись на стаю рыжиков. Опять наткнулся Витька, недаром у него глазищи по чайному блюдечку.

Крепкие, красные, боровые росли грибы в зеленой траве. И хоть целый день грело солнце, они все равно были холодные, как лягушки. В большом рыжике в середине стояла чистая водичка, как все равно нарочно налили для красоты. Поджарить бы на прутике, да жаль соли нет. Вот бы славно поели!

– Айда за солью! – предложил Витька. – Далеко ли овраг перебежать? Хорошо бы заодно по яичку у матери стащить.

«Айда за солью! – думал я, лелея по-прежнему свой злодейский замысел. – Только не думай, что все так и кончится. Когда сбегает за солью, я тебя обязательно прищучу в лесу, ты от меня не уйдешь».

Мы принесли соль и два куриных яйца.

– Теперь давай ямку копать.

В ямку мы положили яйца, засыпали их землей и на этом месте стали разводить теплинку. От огня земля нагреется, яйца в ней превосходно испекутся. Останется только поддержать их в золе около горячих углей, чтобы немного пропахли дымком для вкуса.

Сначала мы зажгли небольшую сосновую веточку, пушистую, но высохшую, с красными иголками. Она вспыхнула от одной спички и горела так, словно гореть для нее большая радость, то есть даже ничего нет на свете лучше, чем сгореть в нашей теплинке. Она вроде бы даже не горела, а плясала, как девчонка в ярко-красном платьице. (Если вдуматься, Витька этот не такой плохой мальчишка, и в лесу с ним интересно, только вот зачем он тогда меня треснул промежду лопаток? Теперь придется ждать, когда кончим жечь теплинку.)

На горящую сосновую ветку мы стали класть тонкие сухие палочки. Мы их клали сначала колодцем, крест-накрест, потом стали класть шалашиком. Постепенно пошли палочки потолще, еще потолще, и тепlinka наша разгоралась ровным, сильным огнем. Она хотя и была небольшая, но сразу видно, что не скоро погаснет, если даже не подкладывать в нее дров.

Тут мы принялись за рыжики. Когда Витька насаживал на прутик свой первый рыжик, мне так и вспомнился тяжелый земляной катыш, которым он меня тогда огрел, и я подумал, не сейчас ли мне с ним расправиться, но решил, что всегда успеется, и стал насаживать свой рыжик. Рыжики шипели в огне, соль на них плавилась и вскипала пузырьками, даже что-то с шипением капало в костер – не то соль, не то грибной сок. А кончики прутьев дымились и обугливались. Мы съели все рыжики, но нам хотелось еще, так они были





вкусны и душисты. Да и соль оставалась, не выбрасывать же ее! Пришлось снова идти по грибы.

Когда мы раскапывали яйца, из земли шел пар – настолько она прогрелась и пропарилась. Надо ли говорить, что яйца упеклись на славу. Мы съели с ними остатки соли. Никогда я не ел яиц вкуснее этих. (Конечно, это Витька придумал печь яйца. Всегда он что-нибудь придумает, даром что уши торчат в разные стороны.)

Ну что же, вот и теплинка прогорела, сейчас пойдем домой, и тут я буду должен... Что бы еще такое придумать, очень не хочется сразу идти домой.

– Бежим на речку, – говорю я Витьке. – Помоемся там, а то вон как перемазались. Водички попьем холодненькой. Бежим?

Все под руками у нас в деревне: лесок так лесок, речка так речка. Мы по колено заходим в светлую текучую воду, которая очень холодна теперь, в конце сентября, наклоняемся над водой и пьем ее большими вкусными глотками. Разве можно воду из колодца или самоварного крана сравнивать с этой прекрасной водой! Сквозь воду видно речное дно – камушки, травинки, песочек. Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся, как живые.

Ну вот и попили и умылись. Делать больше нечего, надо идти домой. Под ложечкой у меня начинает ныть и сосать. Витька доверчиво идет вперед. Его уши торчат в разные стороны: что стоит развернуться и стукнуть!

Что стоит? А вот попробуй, и окажется, что это очень непросто ударить человека, который доверчиво идет впереди тебя.

Да и злости я уж не слышу в себе. Так хорошо на душе после этой теплинки, после этой речки! Да и Витька, в сущности, неплохой мальчишка – вечно он что-нибудь придумает. Придумал вот яйца стащить...

Ладно! Если он еще раз стукнет меня промежду лопаток, тогда-то уж я ему не спущу! А теперь – ладно.

Мне делается легко от принятого решения не бить Витьку. И мы заходим в село как лучшие дружки-приятели.

**1961**

Солоухин «Подворотня»

Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски. Это, наверное, потому, что вечером я помогал матери их скручивать. Мы крутили их на зеленой лужайке около пруда. Ведь если солону помочить в прудовой воде, то она делается мягче, лучше свивается в пояс.



Я знал, что утром мать пойдет в поле жать рожь. За ней среди высоченной частой ржи будет оставаться ровная соломенная щетка. Местами среди желтой соломенной щетки зеленеет живой, по сравнению с созревшей соломой, колючий жабрей.

На желтую соломенную щетку, на зеленый жабрей будет мать класть длинные гибкие пряди ржи, пока не наберется их столько, что можно связать в сноп. Тут-то и пригодится поясок, скрученный нами вчера на берегу пруда, на лужайке. Всю ночь мне снились золотые соломенные пояски, лежащие на зеленой траве. К тому же мне очень хотелось с матерью на жнитво, и я боялся, чтобы не проспать, чтобы она не ушла без меня. Кто тогда вовремя подаст ей поясок, кто тогда с радостью укроется в тень от самого первого поставленного среди жнивья снопа, кто принесет ей бутылку с квасом, спрятанную у межи в прохладной густой траве!

Но детский мой организмишко не успел отдохнуть к нужному часу. Ни рука, ни нога не хотели шевелиться. Глаза – как все равно намазаны самым надежным крепким клеем, а по всему телу – тяжелая сладкая истома. Такая сладкая, что ничего уж на свете не может быть слаще ее, ибо она есть желание сна.

Мать пожалела меня и сказала, перекрестив:

– Ну спи, бог с тобой, я тебя запру снаружи. А когда ты выспишься и встанешь, первым делом умойся, потом выпей молоко, что стоит на столе. Лепешка будет лежать рядом. А потом, если хочешь, сиди дома или приходи ко мне. Дорожку ты знаешь. А на улицу ты вылезешь через подворотню: калитку-то я снаружи замкну, значит, ты через подворотню. Там хоть и нешироко, ну да ты у меня ловкий, ты у меня обязательно вылезешь.

Тут все закачалось вокруг меня, и я уснул крепче прежнего. Проснулся я уже не в полутемной, а в солнечной, яркой избе. По выскобленным половицам, по желтым, как смола, бревенчатым стенам, по струганым лавкам, по скатерти, пусть застиранной, но все еще белой, по печке, недавно побеленной с добавлением синьки, по разноцветной дорожке на полу – повсюду разлилось солнце. И не какое-нибудь там слабосильное, но солнце самого разгара лета, солнце жнитва.

Уж одно ощущение того, что выспался, есть наслаждение жизнью. Каждая клеточка налита до отказа жаждой жить, каждый мускул просит движения. Ко всему этому еще солнце, еще чистые теплые доски под босой ногой, еще свежая вода в рукомойнике, а значит, и на моих щеках, глазах, губах. Ко всему этому еще свежее молоко в крынке и мягкая пшеничная лепешка.

Я бессознательно (а не то чтобы думать о клеточках своего организма) наслаждался всем этим, и было у меня смутное ощущение чего-то очень интересного и хорошего, что ждет меня впереди, сейчас, вот-вот, может, даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять. Но потом вдруг вспомнил: мне ведь предстоит выйти на улицу, и не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Значит, не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттягивать немедленное осуществление того, что в воображении кажется истинным и верным счастьем.

Я сначала вылил остатки молока в кошачью локушку, поманил кошку из сеней, и та сразу прибежала на зов. Тогда я решил, что раз кошка гуляла на улице, значит, пусть она съест молоко, и я опять выпущу ее за дверь. Присев на корточки, я долго наблюдал, как ловко



она розовым язычком лакает белое-белое молоко. Наконец она выпила все, облизнулась, широко раскрыла пасть с острыми белыми зубами и принялась умываться.

Я привязал к нитке бумажный бантик и пытался поиграть с кошкой, как делал прошлый год, когда она была еще маленьким котенком. Однако теперь кошка не захотела носиться по избе за шуршащей бумажкой. Правда, она постреляла за ней справа налево загоревшимися вдруг глазами, резко поворачивая голову, но дальше этого дело не пошло.

И, давая кошке молоко и играя с ней бумажным бантиком, я не переставал думать о том, что ждет меня на улице. Во-первых – солнце, во-вторых – трава, в-третьих – земля под босой ногой. Побегу к матери в поле. Это очень близко, сразу за молотильным сараем. Или нет – сначала найду красивый черепок, или нет – сначала погоню вокруг церкви железное колесо на проволоке. Вокруг церкви у нас все замощено речным камнем. Значит, колесо, когда его быстро катишь, высоко подпрыгивает и на разные голоса звенит.

Итак, была изба, и была улица. И все это было мое. А между ними, как самое главное, как самое радостное для этого дня, была подворотня, сквозь которую мне предстояло пролезть.

Бегом промчался я сквозь полутемные сени, выскочил на двор – и остолбенел. Ворота были широко открыты, и дедушка подметал возле них. Он подметал истово, вершок за вершком, мусоринку за мусоринкой, благо торопиться ему было некуда, подметай хоть до вечера.

– Дедушка, закрой ворота, мне нужно вылезти на улицу.

Дедушка не понял всей тонкости моей просьбы, а понял только, что «на улицу», поэтому сказал:

– Ступай, я тебя не держу.

– Нет, ты закрой ворота.

– Зачем же их закрывать, если ты хочешь на улицу? Вот она, улица, ступай.

– Нет, ты закрой ворота!..

Тут уж терпения моего больше не хватило, и я горько-прегорько заревел.

– Чего ты плачешь? Кто тебя обидел? – растерялся дедушка.

– Никто... Закрой ворота... Я хочу на улицу.

Так ничего и не поняв, но видя, что я не перестану плакать, пока ворота не будут закрыты, дедушка запахнул сначала одну, потом другую широкую воротину. Со скрипом они сошлись одна с другой, сразу загородив и траву, и солнце, и колодезь, и улицу нашего села с ветлами по сторонам.

– Запри их на запор, – сквозь продолжавшийся рев потребовал я от дедушки.



Дедушка (странно, что при его нраве он все еще медлил распоясывать свой крученный веревочный пояс), кряхтя, просунул в железные скобы тяжелый, гладкий от времени квадратный брус.

– Ну, что тебе еще?

Мне ничего больше было не нужно. Теперь мне оставалось осуществить то, что целое утро казалось таким заманчивым и интересным. Мне оставалось теперь лечь на живот и пролезть в подворотню из прохладного, темноватого двора на зеленую, золотистую улицу.

Но вот беда, отчего-то расхотелось лезть в подворотню. Это вовсе даже неинтересно лезть в подворотню, если ворота широко распахнуты, это неинтересно даже тогда, когда их нарочно закроют и даже нарочно запрут для того, чтобы пролезть в подворотню.

Я почувствовал себя глубоко несчастным, глубоко обиженным человеком и заревел еще громче.

Дедушка неторопливо начал развязывать свой крученный веревочный пояс...

**1961**

### Солоухин «Белая трава»

Есть на нашей реке такие глухие и укромные места, что, когда продерешься через спутанные лесные заросли, заполненные к тому же крапивой, и присядешь около самой воды, почувствуешь себя как бы в обособленном, отгороженном от остального земного пространства мире. На самый грубый, поверхностный взгляд, мир этот состоит только из двух частей: из зелени и воды. Но и в воде отражается все та же сплошная зелень.

Будем теперь по капелькам увеличивать наше внимание. При этом почти одновременно с водой и зеленью увидим, что, как ни узка речка, как ни густо сплелись над ее руслом ветки, все же и небо принимает не последнее участие в сотворении нашего маленького мира. Оно то серое, когда еще самый ранний рассвет, то серо-розовое, то ярко-красное – перед торжественным выходом солнца, то золотое, то золотисто-синее и, наконец, голубое, как и полагается ему быть в разгаре ясного летнего дня.

В следующую долю внимания мы уже различим, что то, что казалось нам просто зеленью, вовсе не просто зелень, а нечто подробное и сложное. И в самом деле, натянуть бы около воды ровную зеленую парусину, то-то была дивная красота, то-то восклицали бы мы: «Земная благодать!» – глядя на ровную зеленую парусину.

Висит над водой старая, черная, как уголь, коряга. Отзвенела, отшумела свое. Отдрожала дождевыми каплями на весенних листьях, отсорила в воду ярко-желтыми глянцевыми листочками. Угольное отражение ее четко лежит на воде, перерываясь лишь в тех местах,



где попадает на округлые листья кувшинок. Зелень этих листьев не может не совпадать, не сливаться с отраженной вокруг лесной зеленью. У черемух выросли до своей величины будущие ягоды. Теперь они гладкие, жесткие, как все равно вырезаны из зеленой кости и отполированы. Листья ракиты повернуты то своей ярко-зеленой, то обратной, матовой, серебряной стороной, отчего все дерево, вся его крона, все, так сказать, пятно в общей картине кажется светлым. У кромки воды растут, наклонясь в сторону, травы. Кажется даже, что дальше травы привстают на цыпочки, тянутся изо всех сил, чтобы обязательно, хотя бы из-за плеч, поглядеть в воду. Тут и крапива, тут и высоченные зонтичные, названия которым здесь у нас никто не знает.

Но всех больше украшает наш замкнутый земной мирок некое высокое растение с пышными белыми цветами. То есть каждый цветок в отдельности очень мал и был бы вовсе незаметен, но собрались цветы на стебле в бесчисленном множестве и образуют пышную, белую, слегка желтоватую шапку. А так как стебли этого растения никогда не растут поодиночке, то пышные шапки сливаются, и вот уже как бы белое облако дремлет среди неподвижной лесной травы. Еще и потому невозможно не залюбоваться этим растением, что едва лишь пригреет солнце, как от белого цветочного облака поплывут во все стороны незримые клубы, незримые облака крепкого медвяного аромата.

Вообще-то говоря, сидя с удочкой, ни о чем больше не думаешь, как только о клеве, о поплавке, если можно назвать думанием сосредоточенное, напряженное ожидание хотя бы легкого шевеления. Страстный рыболов Антон Павлович Чехов не так уж прав, говоря, что во время ужения приходят в голову светлые, хорошие мысли. Ничуть не бывало! Последние жалкие обрывки деваются неизвестно куда.

Глядя на белые пышные груды цветов, я часто думал о нелепости положения. Я вырос на этой реке, чему-то меня учили в школе. Цветы эти я вижу каждый раз, и не просто вижу, а выделяю из всех остальных цветов. А вот спроси меня, как они называются, – не знаю, почему-то ни разу не слышал их названия и от других, тоже здесь выросших людей. Одуванчик, ромашка, василек, подорожник, колокольчик, ландыш – на это нас еще хватает. Эти растения мы еще можем называть по имени. Впрочем, зачем же сразу обобщать, – может быть, один лишь я и не знаю? Нет, кого бы я ни расспрашивал в селе, показывая белые цветы, все разводили руками:

– Кто их знает! Полно их растет: и на реке, и в лесных оврагах. А как называются?.. Да тебе на что? Цветы и цветы, их ведь не жать, не молотить. Нюхать и без названия можно.

Мы вообще-то, я бы сказал, немного равнодушны ко всему, что окружает нас на земле. Нет, нет, конечно, мы часто говорим, что любим природу: эти перелески, и холмы, и роднички, и огневые, на полнеба, летние теплые закаты. Ну и, конечно, собрать букет цветов, ну и, конечно, прислушаться к пению птиц, к их щебетанию в золотых лесных верхах в то время, когда сам лес еще полон темно-зеленой, черной почти прохлады. Ну и сходить по грибы, ну и поудить рыбу, да и просто полежать на траве, глядя вверх на плывущие облака.

«Послушай, а как называется трава, на которой ты теперь так бездумно и так блаженно лежишь?» – «То есть как это как? Трава. Ну там... какой-нибудь пырей или одуванчик». –





«Какой же тут пырей? Тут вовсе нет никакого пырея. Всмотрись повнимательнее. На месте, которое ты занял своим телом, растет десятка два разнообразных трав, и ведь каждая из них чем-нибудь интересна: то ли образом жизни, то ли целебными для человека свойствами. Впрочем, это уж вроде как бы непостижимая для нашего ума тонкость. Пусть об этом знают хотя бы специалисты. Но названия, конечно, не мешало бы знать».

Из двухсот пятидесяти видов грибов, что растут повсеместно в наших лесах, начиная с апреля и кончая заморозками (кстати, почти все виды съедобны, исключая лишь несколько видов), мы знаем «в лицо» и по названиям едва ли четвертую часть. Про птиц не говорю. Кто мне подтвердит, которая из этих двух птиц малиновка-пересмешница, которая крапивница, а которая мухоловка-пеструшка? Кто-нибудь, конечно, подтвердит, но каждый ли? Но каждый ли третий, по каждый ли пятый – вот вопрос!

...Встретившись в Москве с моим другом и земляком из соседнего села Сашей Косицыным, мы начинаем вспоминать наш лес Журавлиху, нашу речушку Воршу, наш Долгий омут, затерявшийся в Журавлихе.

– Больше всего я люблю в Журавлихе запахи, – зажмуриваясь от блаженства, вспоминает Саша Косицын. – Нигде, ни на одной реке, ни в одном лесу я не встречал таких запахов! Нельзя сказать в отдельности, что пахнет крапивой, или мятой, или вот этой... как ее?... Ну, знаешь, такая белая трава... пышная, ну, ты знаешь...

– Знаю, о чем ты говоришь, но я сам сто раз собирался спросить у тебя, как называется эта трава. А ты, оказывается, забыл.

– Ну, знал, да забыл, – рассмеялся Саша. – Вообще-то не мешало бы выяснить. Ты бы спросил в деревне у местных жителей, скажут.

– Разве я не спрашивал? Много раз!..

– Я придумал: надо будет спросить у моего отца. Он лесником четыре года работал, он все знает. Их, лесников, даже заставляют собирать семена деревьев и растений. Он книги на эту тему читал. И по этой части знает все досконально. А уж эту траву – и говорить нечего. Вокруг сторожки, где мы жили, ее целые плантации.

Как-то так получилось, что летом, когда мы с Сашей встречались в деревне и когда его отец, знающий все досконально, бывал поблизости, а часто даже и сидел с нами за одним столом, мы забывали про нашу душистую траву. Вспоминали же о ней снова зимой в Москве: начинали сожалеть, что вот была возможность узнать – забыли. На будущий год непременно надо спросить у бывшего лесника. Наше нетерпение обострялось в такой степени, что хотелось скорее написать письмо.

Но вспоминали мы о белой траве обыкновенно поздним вечером, не дома, а в гостях, во время ужина, а то и вовсе в ресторане, когда на нас находили особенно лирические мгновения и мы особенно ярко вспоминали о Журавлихе и Ворше. Только этим и можно объяснить, почему мы в течение трех лет не отправили ни письма, ни телеграммы. Однажды наконец-то совпали все желаемые условия: мы были с Сашей вместе. Павел Иванович сидел рядом, и мы вспомнили про нашу загадочную белую траву.



– Так-так-так, – энергично поддакивал нам Павел Иванович. – Ну как же! Неужели я не знаю эту траву?! У нее еще стебли пустые. Бывало, надо напиться, а родничок в глубокой промоине. Сейчас срежешь стебель метровой длины да через него и напьешься. А листья у нее немножко на малинные похожи. А цветы белые да пышные. А уж пахнут!.. Бывало, сидишь на реке с удочкой, за сто шагов – аромат. Ну как же, неужели не знаю я эту траву?! Да что ты, Саша, неужели не помнишь, сколько ее возле нашей сторожки росло по тому берегу реки, хоть заготовляй!

– Ну так не тяни душу, говори, как она называется.

– Бела трава.

– Мы знаем, что она белая, но вот название?..

– Какое вам еще название? Я, например, так ее постоянно зову: бела трава. Да и все у нас так зовут.

Мы с Сашей рассмеялись, хотя причина нашего смеха, я так думаю, была совсем непонятна для бывшего человека Павла Ивановича. Бела трава – и вдруг смешно! Попробуй догадайся, над чем тут смеются.

**1961**

## Александр Куприн. «Allez!»

Этот отрывистый, повелительный возглас был первым воспоминанием mademoiselle Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый, младенческий язычок, и всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы: холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха.

- Allez!.. [Вперед, марш! (фр.)]

В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы; они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапезий там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Глаз едва различает только первые ряды кресел, между тем как места за ложами и галерея совсем утонули во мраке.

Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх водит



вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, и из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше.

Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов - все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им...

- Allez!..

А вот она, в короткой газовой юбочке, с обнаженными худыми, полудетскими руками, стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции, у ног девочки, висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и... хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные, безжалостные руки (о, с каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей!), но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса, и она только крепче стискивает тонкие веревки. Опущенные безжалостные руки поднимаются опять, взгляд акробата становится еще напряженнее... Пространство внизу, под ногами, кажется бездной.

- Allez!..

Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху "живой пирамиды" из шестерых людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змей, телом, между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в "икарийских играх". Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги... И везде те же глупо красивые лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела, и везде все тот же страх и тот же неизбежный, роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак:

- Allez!..

Ей только что минуло шестнадцать лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же, бесчувственную, унесли за кулисы и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. "Публика волнуется и начинает расходиться, - говорили вокруг нее, - идите и покажитесь публике!.." Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку "грациозной наездницы", но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа, к публике.

- Allez!..



В этот сезон в цирке "работал" в качестве гастролера клоун Менотти, - не простой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками, - а клоун-знаменитость, первый соло-клоун и подражатель в свете, всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы и так далее и так далее. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по двести рублей за выход, гордился тем, что вот уже пять лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров "разбитым" и с приподнятой горечью говорил про себя: "Да! Мы - шуты, мы должны смешить \_сытую\_ публику!" На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты, или декламировал стихи своего сочинения, или продергивал думу и канализацию, что, в общем, производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривлянья. В жизни же он имел вид томно-покровительственный и любил с таинственным, небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.

Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показала в цирк, на утреннюю репетицию, Менотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало-влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь.

Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый, первый соло-клоун всегда останавливался.

Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась - частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Менотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал:

- Allez!..

И она пошла... Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти бога... Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать.

В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла брильянты и медали Менотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольдкрем и - что всего важнее - верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил, о чем с ней говорить, и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека, пресыщенного, но милостиво позволяющего обожать себя.

Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших "воздушные полеты". Теперь он совершенно не стеснялся с Норой и нередко в уборной, перед глазами артистов и конюхов, колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака.

Наконец однажды, ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Менотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и



обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал:

- Allez!..

Но через два дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: "К ним нельзя-с, они в кабинете, заняты с барышней-с".

Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Менотти. Да, он был там: она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.

Малиновые с золотом обои, яркий свет двух канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах, Менотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем, запах духов, вина, сигары, пудры, - все это сначала ошеломило ее; потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка...

Когда Менотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней, Менотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал:

- Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда!

Она встала, задыхаясь, и зашептала:

- А-а! В таком случае... в таком случае...

Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы.

Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей.

Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса... Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке:

- Allez!..

1897

## О'Генри «Последний лист»

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некому художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восвояси, не получив ни единого цента по счету!

И вот люди искусства набрали на своеобразный квартал Гринич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой





квартирной платы. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».

Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на Вольмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорийный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс... ну, скажем, против десяти, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. — И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопоя теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать, например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти, вместо одного из десяти.

После того как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать, — произнесла она, и немного погодя: — одиннадцать, — а потом: — «десять» и «девять», а потом: — «восемь» и «семь» — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену.





Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть, — едва слышно ответила Джонси. — Теперь они облетают гораздо быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сьюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпарировала Сью. — Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбить его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо, — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. — Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая, — сказала Сью, наклоняясь над ней, — обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой, — сказала Сью. — А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь, — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя, — потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит, — лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть, — сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злующий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевельновыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу двадцать пять лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром.



Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

— Что! — кричал он. — Возможна ли такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба, — сказала Сью, — и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман, — если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик... противный старый болтунишка.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман. — Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темнозеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.

— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь непрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди, — сказала Джонси. — Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.



Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные, — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. — При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка, — начала она. — Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

## Тэффи. «О нежности»

«А нежность... где ее нет!» — сказала Обломову Ольга.

Что это за фраза? Как ее следует пошшать? Почему такое уничижение нежности? И где она так часто встречается?

Я думаю, что здесь неточность, что по нежность осуждается пламенной Ольгой, а модная в то время сентиментальность, фальшивое, поверхностное и манерное занятие. Именно занятие, а не чувство.

Но как можно осудить нежность?

Нежность — самый кроткий, робкий, божественный лик любви? Сестра нежности — жалость и они всегда вместе.

Увидите вы их не часто, но иногда встретите там, где никак не ожидали и в сочетании самом удивительном.

Любовь-страсть всегда с оглядкой на себя. Она хочет покорить, обольстить, она хочет нравиться, она охорашивается, подбочивается, мерит, все время боится упустить потерянное.

Любовь-нежность (жалость) — все отдает, и нет ей предела. И никогда она на себя не оглянется, потому что «не ищет своего». Только она одна и не ищет.



Но не надо думать, что чувство нежности принижает человека. Наоборот. Нежность идет сверху, она заботится о любимом, охраняет, опекает его. А ведь заботиться и охранять можно только существо беззащитное, нуждающееся в опеке. Поэтому слова нежности — слова уменьшительные, идущие от сильного к слабому.

— Деточка! Крошечка!

Пусть деточке пятьдесят лет, а крошечке семьдесят, нежность идет сверху и видит их маленькими, беззащитными, и мучается над ними, боится за них.

Не может Валькирия, несмотря на всю свою любовь к Зигфриду, назвать его «заинькой». Она покорена силой Зигфрида, в ее любви — уважение к мускулам и к силе духа. Она любит героя. Нежности в такой любви быть не может.

Если маленькая, хрупкая, по природе нежная женщина полюбит держиморду, она будет искать момента, принижаящего это могучее существо, чтобы открыть путь для своей нежности.

— Он, конечно, человек очень сильный, волевой, даже грубый, но, знаете, иногда, когда он спит, у него лицо делается вдруг таким детским, беспомощным.

Это нежность слепо, ошупью ищет своего пути.

Одна молодая датчанка, первый раз попавшая во Францию, рассказывала с большим удивлением, что француженки называют своих детей кроликами и цыплятами. И даже — что совсем уже необъяснимо — одна дама называла своего больного мужа капустой (*mon chou*) и кокошкой (*ma cocotte*).

— И, знаете, — прибавляла она, — я заметила, что и на детей, и на больных это очень хорошо действует.

— А разве у вас в Дании нет никаких ласкательных слов?

— Нет, ровно никаких.

— Ну, а как же вы выражаете свою нежность?

— Если мы любим кого-нибудь, то мы стараемся сделать для него все, что только в наших силах, но называть почтенного человека курицей никому в голову не придет. Но странное дело, — прибавила она задумчиво, — я заметила, что такое обращение очень нравится и даже очень хорошо действует на детей и больных.

Нежность встречается редко и все реже.

Современная жизнь трудна и сложна. Современный человек и в любви стремится прежде всего утвердить свою личность. Любовь — единоборство.

— Ага! Любить? Ну ладно же.

Засучили рукава, расправили плечи — ну-ка, кто кого?

До нежности ли тут? И кого беречь, кого жалеть — все молодцы и герои.

Кто познал нежность — тот отмечен. Копье архангела пронзило его душу, и уж не будет душе этой ни покоя, ни меры никогда.

В нашем представлении рисуется нежность непременно в виде кроткой женщины, склонившейся к изголовью.

Ах, что мы знаем об этих «кротких женщинах»! Ничего мы о них не знаем.

Нет, не там нужно искать нежность. Я видела ее иначе. В обликах совсем не поэтических, в простых, даже забавных.

В первый раз посетила она мою душу — давно. Душе моей было не более семи лет. Огромные семь лет. Самые полные, насыщенные и значительные эти первые семь лет человеческой жизни.

Был вечер, была елка. Были и восторг, и зависть, и смех, и ревность, и обида, — весь аккорд душевных переживаний.



И были подарены нам с младшей сестрой картонные слоники, серые с наклеенной на спине красной бархатной попонкой с золотым галуном. Попонка сбоку поднималась и внутри в животе у слоников бренчали конфетки.

Были подарки и поинтереснее. Слоники ведь просто картонажи с елки.

Я высыпала из своего картонажа конфетки, живо их сгрызла, а самого слоника сунула под елку — пусть там спит, а за ночь придумаю, кому его подарить.

Вечером, разбирая игрушки и укладывая спать кукол, заметила, что сестра Лена как-то особенно тихо копошится в своем углу и со страхом на меня посматривает.

— Что бы это такое могло быть?

Я подошла к ней, и она тотчас же схватила куклино одеяло и что-то от меня прикрыла, спрятала.

— Что у тебя там?

Она засопела и, придерживая одеяло обеими руками, грозно сказала:

— Пожалуйста, не смей!

Тут для меня осталось два выхода — или сказать «хочу» и «буду» — и лезть напролом, или сделать вид, что мне вовсе не интересно. Я выбрала последнее.

— Очень мне нужно!

Повернулась и пошла в свой угол. Но любопытство мучило, и я искоса следила за Леной. Она что-то все поглаживала, шептала. Изредка косила на меня испуганный круглый свой глазок. Я продолжала делать вид, что мне все это ничуть не интересно, и даже стала напевать себе под нос.

И мне удалось обмануть ее. Она встала, нерешительно шагнула раз, два, и видя, что я сижу спокойно, вышла из комнаты.

В два прыжка я была уже в ее углу, содрала одеяльце и увидела нечто ужасно смешное. Положив голову на подушечку, лежал спеленутый слоник, безобразный, жалкий, носатый. Вылезающий из сложенной чепчиком тряпки хобот и часть отвислого уха — все было так беззащитно, покорно и кротко и вместе с тем так невыносимо смешно, что семилетняя душа моя растерялась. И еще увидела я под хоботом у слоника огрызок пряника и два ореха. И от всего этого стало мне так больно, так невыносимо, что, чтобы как-нибудь вырваться из этой странной муки, я стала смеяться и кричать:

— Лена! Глупая Лена! Она слона спеленала! Смотрите! Смотрите!

И Лена бежит, красная, испуганная, с таким отчаянием в глазах, толкает меня, прячет своего слоника. А я все кричу:

— Смотрите, смотрите! Она слона спеленала!

И Лена бьет меня крошечным толстым своим кулаком, мягким, как резинка, и прерывающимся шепотом говорит:

— Не смей над ним смеяться! Ведь я тебя у-у-убить могу!

И плачет, очевидно от ужаса, что способна на такое преступление.

Мне не больно от ее кулака. Он маленький и похож на резинку, но то, что она защищает своего уродца от меня, большой и сильной, умеющей — она это знает — драться ногами, и сам этот уродец, носатый, невинный, в тряпочном чепчике, — все это такой болью, такой невыносимой, беспредельной, безысходной жалостью сжимает мою маленькую, еще слепую душу, что я хватаю Лену за плечи и начинаю плакать и кричать, кричать, кричать... Картонного слоника с красной попонкой — уродца в тряпочном чепчике — забуду ли я когда-нибудь?

\* \* \*

И вот еще история — очень похожая на эту. Тоже история детской души.

Был у моих знакомых, еще в Петербурге, мальчик Миша, четырех лет от роду.





Миша был грубый мальчишка, говорил басом, смотрел исподлобья. Когда бывал в хорошем настроении, напевал себе под нос: «бум-бум-бум» и плясал, как медведь, переступая с ноги на ногу. Плясал только, когда был один в комнате. Если кто-нибудь невзначай войдет, Миша от стыда, что ли, приходил в ярость, бросался к вошедшему и бил его кулаками по коленям — выше он достать не мог.

Мрачный был мальчик. Говорил мало и плохо, развивался туго, любил делать то, что запрещено, и делал явно, назло, потому что при этом поглядывал исподтишка на старших. Лез в печку, брал в рот гвозди и грязные перья, запускал руку в вазочку с вареньем, одним словом, был отпетый малый.

И вот как-то принесли к нему в детскую, очевидно, за ненадобностью, довольно большой старый медный подсвечник.

Миша потащил его к своим игрушкам, к автомобилю, паяцу, кораблю и барану, поставил на почетное место, а вечером, несмотря на протесты няньки, взял его с собою в кровать. И ночью увидела нянька, что подсвечник лежал посреди постели, положив на подушку верхушку с дыркой, в которую вставляют свечку. Лежал подсвечник, укрытый «до плеч» простыней и одеялом, а сам Миша, голый и холодный, свернулся комком в уголке и ноги поджал, чтобы не мешать подсвечнику. И несколько раз укладывала его нянька на место, но всегда, просыпаясь, видела подсвечник уложенным и прикрытым, а Мишу голого и холодного — у его ног.

На другой день решили подсвечник отобрать, но Миша так отчаянно рыдал, что у него даже сделался жар. Подсвечник оставили в детской, но не позволили брать с собою в кровать. Миша спал беспокойно и, просыпаясь, поднимал голову и озабоченно смотрел в сторону подсвечника — тут ли он.

А когда встал, сейчас же уложил подсвечник на свое место, очевидно, чтобы тот отдохнул от неудобной ночи.

И вот как-то после обеда дали Мише шоколадку. Ему вообще сладкого никогда не давали — доктор запретил, — так что это был для него большой праздник. Он даже покраснел. Взял шоколадку и пошел своей звериной походкой в детскую. Потом слышно было, как он запел: «бум-бум-бум» и затопал медвежьей пляску.

А утром няньку, убирая комнату, нашла его шоколадку нетронутой — он ее засунул в свой подсвечник. Он угостил, отдал все, что было в его жизни самого лучшего, и, отдав, плясал и пел от радости.

\* \* \*

Мы жили в санатории под Парижем.

Санатория принадлежала русскому врачу, и почти все ее население было русское.

Гуляли, ели, слушали радио, играли в бридж, сплетничали.

Настоящих больных было только двое — чахоточная девочка, которую никто никогда не видел, и злующий старик, поправлявшийся от тифа.

Старик часто сидел на террасе в шезлонге, обложенный подушками, укутанный пледами, бледный, бородатый, всегда молчал и, если кто проходил мимо, отворачивался и закрывал глаза.

Вокруг старика трепетной птицей вилась его жена. Женщина немолодая, сухая, легкая, с лицом увядшим и с такими тревожно-счастливыми глазами, которые точно увидели радость и верить этой радости бояться.

И никогда она не сидела спокойно. Все что-то поправляла около своего больного. То перевертывала ему газету, то взбивала подушку, то подтыкивала плед, то бежала греть молоко, то капала лекарство. Все эти услуги старик принимал с явным



отвращением, а она от страха перед этим отвращением роняла ложку, проливала молоко, задевала его газетой по носу. И все время улыбалась дрожащими губами и рассказывала всякие веселые вещи. Расскажет и засмеется, чтобы показать ему, что это смешно, что это весело. Он делал вид, что не слышит, и отворачивался.

Когда он засыпал в кресле, она позволяла себе сесть рядом и даже взять книгу. Но книгу она не читала, потому что, напряженно вытянув шею, прислушивалась к его дыханию.

Завтракал и обедал он у себя в комнате, и она одна спускалась в столовую. И каждое утро с газетой в руках она носилась от столика к столику, приветливо со всеми беседовала и спрашивала:

— Вот, может быть, вы мне поможете? Вот здесь крестословица. «Что бывает в жилом доме, в четыре буквы». Я думала «окно», но первая буква «и», потому что вертикально «женщина, обращенная в корову», значит Ио.

И поясняла:

— Я записываю на бумажке, чтобы помочь Сергею Сергеевичу. Он всегда решает крестословицы, и, если затрудняется, я ему прихожу на помощь. Ведь это единственное его развлечение. Так что уж мы с ним всегда, после дневного отдыха, предаемся этому занятию. Больные ведь как дети. Я так рада, что хоть это его забавляет. Чтение для него утомительно. Так вы не знаете, что бывает в доме в четыре буквы на «и»? Ну, так я спрошу у той барышни, что сидит на балконе.

И летит, легкая, сухая, на балкон к среднему столику, от столика еще куда-нибудь и всем приветливо объясняет, что ее мужа развлекают крестословицы и как она ему помогает в трудных случаях.

— Знаете, больные, они как дети!

И ласково всем кивала и посмеивалась, точно все мы были в каком-то веселом с ней заговоре и, конечно, тоже радуемся, стараясь угадать трудное слово крестословицы, чтобы быть полезными очаровательному Сергею Сергеевичу.

Ее жалели и относились к ней с большой симпатией.

— Умная была женщина, бактериолог. Много научных работ. И вот бросила все и мечется с крестословицами.

— А что он собою представляет?

— Он? Да как вам сказать, — нечто неопределенное. Был как будто общественным деятелем, не из видных. Писал в провинциальных газетах. В общем, кажется, просто дурак с фанабериями.

Эти часа полтора во время завтрака были, кажется, лучшими моментами ее жизни. Это была подготовка к блаженному моменту, когда «ему», может быть, понадобится ее помощь.

И вот, как-то он выполз на террасу раньше обычного, когда кое-кто из пансионеров еще не встал из-за стола.

Она долго усаживала его, укрывала пледами, подкладывала подушки. Он морщился и сердито отталкивал ее руку, если она не сразу угадывала его желания.

Наконец он успокоился.

Она, радостно поеживаясь, схватила газету.

— Вот, Сереженька, сегодня, кажется, очень интересная крестословица.

Он вдруг приподнял голову, выкатил злые желтые глаза и весь затрясся.

— Убирайся ты наконец к черту со своими идиотскими крестословицами! — бешено зашипел он.

Она побледнела и вся как-то опустилась.

— Но ведь ты же... — растерянно лепетала она. — Ведь ты же всегда интересовался...



— Никогда я не интересовался! — все трясся и шипел он, с звериным наслаждением глядя на ее бледное, отчаянное лицо. — Никогда! Это ты лезла с упорством дегенератки, каковая ты и есть! И-ди-отка!

Она ничего не ответила. Она только с трудом проглотила воздух, крепко прижала руки к груди и огляделась кругом с такой болью и с таким отчаянием, точно искала помощи. Но кто же может отнестись серьезно к такому смешному и глупому горю?

Только маленький мальчик, сидевший за соседним столиком и видевший эту сцену, вдруг зажмурился и горько-горько заплакал.

\* \* \*

Он жил в одном доме с нами. Он был когда-то другом моего покойного отца, кажется, даже товарищем по университету.

Но в то время, о котором я сейчас хочу рассказать, он почти никогда у нас не бывал. Видали мы его только рано утром на улице. Он гулял со своей собакой.

Но слышали мы о нем часто. Он был очень важным сановником, очень нелюбимым и осуждаемым за ретроградство, за «непонимание момента», крутым, злобным человеком, «темной силой, тормозящей молодую Россию на ее светлом пути». Вот как о нем говорили.

И еще говорили о том, что он тридцать пять лет состоит мужем женщины, выдающейся красотой и умом.

Пройти такой стаж было, вероятно, очень тяжело.

Быть мужем красавицы трудно. Но красота пропадает, и женщина успокаивается. Но если красавица вдобавок и умна — то покоя уже никогда не настанет. Умная красавица, потеряв красоту, заткнет пустое место благотворительностью, общественной деятельностью, политикой. Тут покоя не будет.

Жена сановника была умна, писала знаменитым людям письма исторического значения, наполняла свой салон передовыми людьми и о муже отзывалась иронически.

Впрочем, сейчас я не совсем уверена в том, что эта женщина была умна. В те времена была мода на вдумчивость и серьезность, на кокетничанье отсутствием кокетства, на наигранный интерес к передовым идеям и каким-то «студенческим вопросам». Если женщина при этом была красива и богата, то репутация умницы была за ней обеспечена.

Может быть, и в данном случае было так.

Сановник жил на своей половине, отделенной от комнат умной красавицы большой гостиной, всегда полутемной, с дребезжащими хрусталями люстр, с толстыми коврами, о которые испуганно спотыкались пробегавшие с докладами молодые чиновники.

Утром, гуляя с няней, которая ходила за булками, мы встречали сановника. Он гулял со своей огромной собакой, сенбернаром.

Сановник был тоже огромный, обрюзгший и очень похожий на свою собаку. Его отвислые щеки оттягивали вниз нижние веки, обнаруживая красную полосу под глазным яблоком. Совершенно как у сенбернара. И так же медленно ступал он тяжелыми мягкими ногами. И шли они рядом.

— Ишь, собачища! — сказала раз нянька.

И мы не поняли, о ком она говорит — о сановнике или о его собаке. «Собачища» ему подходило, пожалуй, больше, чем ей. У него лицо было свирепое.

Нас очень интересовала эта огромная собака. И раз, когда сановник остановился перед окном книжного магазина, и собака остановилась рядом и тоже смотрела на



книги, младшая сестра моя вдруг расхрабрилась и протянула руку к пушистому толстому уху, которое было на уровне ее лица.

— Можно погладить собачку? — спросила она. Сановник обернулся, весь целиком, всем туловищем.

— Это... э-это... совершенно лишнее! — резко сказал он, повернулся и пошел.

Я потом за всю свою жизнь никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь говорил таким тоном с трехлетним ребенком.

Действительно, — точно гавкнула собачища.

Дети страшно остро чувствуют обиду и унижение.

Я помню до сих пор, как она втянула голову в плечи, стала вся маленьким жалким комочком и заковыляла к няньке.

Мы еще раза два-три видели их — его и собаку. Потом почему-то перестали их встречать.

И вот раз вечером, уже лежа в постели, услышала я нечто. Рассказывала горничная нашей няне, и обе смеялись.

— И злющий был презлющий. Чиновника своего прогнал и повара рассчитал, и швейцару нагоняй. Трех ветеринаров созвал. Ну, однако, пес евонный околел. Ну, прямо и смех, и грех, он его трогать не велел, а положил в зале в углу на ковер. Лакей Петро рассказывал — сидит, говорит, злющий, аж весь черный, у себя в кабинете, пишет-пишет, потом встанет да так тихомольно крадучись, в залу пройдет, нагнется к собаке-то, лапу ей поцелует — ну, ей-Богу, умора! Да опять тихомольно к себе в кабинет. Сядет и пишет. Попишет-попишет, задумается, да опять, да на цыпочках, раскорякой — и идет в залу. Лакей Петро позвал Семена кучера, да Ариша ихняя — там за дверью в передней все видно — так прямо все животики надорвали.

— Гос-с-споди спаси и помилуй! — ахала нянька. — Собачью лапу!

— Да ведь всю-то ноченьку так и не ложился. Ну и поохотали же мы! Ноги, говорит, внутрь завернет, ровно барсук, брюхом переваливает, думает — никто и не слышит, как он в залу-то. Суцая комедь! Прямо, говорит, театру не надо.

— Ну-ну!

## Леонид Андреев «Друг»

Когда поздний ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика был звонкий собачий лай, в котором слышались и боязнь чужого и радость, что это идет свой. Потом доносилось шлепанье калош и скрип снимаемого крючка.

Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку.

-- Ну, что? -- спрашивал заспанный голос тоном официального участия.

-- Ничего. Устал, -- коротко отвечал Владимир Михайлович и шел в свою комнату.



За ним, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажженной лампы наполнял комнату, взор Владимира Михайловича встречал упорный взгляд черных глаз собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки.

-- Друг ты мой единственный! -- говорил Владимир Михайлович и гладил черную блестящую шерсть. Точно от полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила белые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А он вздыхал, ласкал ее и думал, что нет больше на свете никого, кто любил бы его.

Если Владимир Михайлович возвращался рано и не уставал от работы, он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь на стуле возле него, изредка открывала один черный глаз и спросонья виляла хвостом. И когда, взволнованный процессом творчества, измученный муками своих героев, задыхающийся от наплыва мыслей и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.

-- Будем мы с тобой знамениты, Васюк? -- спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.

-- Будем тогда печенку есть, ладно?

"Ладно", -- отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Владимира Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, с которой он жил, добывала у соседей посуду, поила чаем, ставя самовар за самоваром, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. В накуренной комнате звучали громкие голоса. Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали друг другу; советовали Владимиру Михайловичу бросить литературу и заняться другим, более выгодным делом. Одни говорили, что ему нужно лечиться, другие чокались с ним рюмками и говорили о вреде водки для его здоровья. Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него припадки тоски, оттого он ищет в жизни невозможного. Все говорили с ним на "ты", и в голосе их звучало участие, и они дружески звали его с собой ехать за город продолжать попойку. И когда он, веселый, кричащий больше всех и беспричинно смеющийся, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тетки, сердитые и упрекающие, и черные, беспокойно ласковые глаза собаки.

Он не помнил, что он делал, когда пил и когда к утру возвращался домой, выпачканный в грязи и мелу и потерявший шляпу. Передавали ему, что во время попойки он оскорблял друзей, а дома обижал тетку, которая плакала и говорила, что не выдержит такой жизни и удавится, и мучил собаку за то, что она не идет к нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то бил ее ремнем. Наступал следующий день; все уже кончали свою дневную работу, а он просыпался больной и страдающий. Сердце неровно колотилось в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной, в кухне, стучала тетка, и звук ее шагов разносился по пустой и холодной квартире. Она не заговаривала с Владимиром Михайловичем и молча подавала ему воду, суровая, не прощающая. И он молчал, смотрел на потолок в одно давно им замеченное пятнышко и думал, что он сжигает свою жизнь и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он признавал себя ничтожным, и слабым, и одиноким до ужаса. Бесконечный мир кишел движущимися людьми, и не было ни одного человека, который пришел бы к нему и разделил его муки, -- безумно-горделивые помыслы о славе и убийственное сознание ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой он хватался за холодный лоб и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза просачивалась и скользила по щеке, еще сохранившей запах продажных поцелуев. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и





затуманенный слезой взгляд встречал черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ее тихие вздохи. И он шептал, тронутый, утешенный:

-- Друг, друг мой единственный!..

Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей, кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали наткнуться на неприятность. Так, в борьбе с самим собой, неизвестностью и одиночеством протекали угарные, чадные ночи и строго карающие светлые дни. И часто в пустой квартире гулко отдавались шаги тетки, и на кровати слышался шепот, похожий на вздох:

-- Друг, друг мой единственный!..

И наконец она пришла, эта неуловимая слава, пришла нежданная-негаданная и наполнила светом и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества исчез, и замолк тихий шепот. Исчезла и водка, этот зловещий спутник одиноких, и Владимир Михайлович более не оскорблял ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звончее стал ее лай при поздних встречах, когда он, ее единственный друг, приходил добрый, веселый, смеющийся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа ее приподнималась, обнажая белые зубы, и потешными складками морщился нос. Веселая, шаловливая, она начинала играть, хватала его вещи и делала вид, что хочет унести их, а когда он протягивал руки, чтобы поймать ее, подпускала его на шаг и снова убегала, и черные глаза ее искрились лукавством. Иногда он показывал собаке на тетку и кричал: "куси", и собака с притворным гневом набрасывалась на нее, тормошила ее юбку и, задыхаясь, косилась черным лукавым глазом на друга. Тонкие губы тетки кривились в суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей голове и говорила:

-- Умная собака, только вот супу не любит.

А по ночам, когда Владимир Михайлович работал и только дребезжание стекол от уличной езды нарушало тишину, собака чутко дремала возле него и пробуждалась при малейшем его движении.

-- Что, брат, печенки хочешь? -- спрашивал он.

-- Хочу, -- утвердительно вилял хвостом Васюк.

-- Ну погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкал? Некогда, брат, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашивал он собаку о печенке, но постоянно забывал купить ее, так как голова его была полна планами новых творений и мыслями о женщине, которую он полюбил. Раз только вспомнил он о печенке; это было вечером, и он проходил мимо мясной лавки, а под руку с ним шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть к его локтю. Он шутливо рассказал ей о своей собаке, хвалил ее ум и понятливость. Немного рисуясь, он передал о том, что были ужасные, тяжелые минуты, когда он считал собаку единственным своим другом, и шутя рассказал о своем обещании купить другу печенки, когда будет счастлив... Он плотнее прижал к себе руку девушки.

-- Художник! -- смеясь, воскликнула она. -- Вы даже камни заставите говорить; а я очень не люблю собак: от них так легко заразиться.

Владимир Михайлович согласился, что от собаки легко можно заразиться, и промолчал о том, что он иногда целовал блестящую черную морду.

Однажды днем Васюк играл больше обыкновенного, а вечером, когда Владимир Михайлович пришел домой, не явился встречать его, и тетка сказала, что собака больна. Владимир Михайлович встревожился и пошел в кухню, где на тоненькой подстилке лежала собака. Нос ее был сухой и горячий, и глаза помутнели. Она пошевелила хвостом и печально посмотрела на друга.

-- Что, мальчик, болен? Бедный ты мой!

Хвост слабо шевельнулся, и черные глаза стали влажными.



-- Ну, лежи, лежи.

"Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда. Ну, да так пройдет", -- думал Владимир Михайлович и забыл о собаке, мечтая о том счастье, какое может дать ему красивая девушка. Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарилась, ища звонка, а найдя, долго недоумевала, что делать с этой деревяшкой.

-- Ах, да нужно же позвонить, -- засмеялся он и запел: -- Отворите!

Одиноко звякнул колокольчик, зашлепали калоши, и скрипнул снимаемый крючок. Напевая, Владимир Михайлович прошел в комнату, долго ходил, прежде чем догадался, что ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но еще долго держал в руках снятый сапог и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так просто и сердечно: да, я люблю вас. И, улегшись, он все продолжал видеть ее живое лицо, пока рядом с ним не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнул в сердце вопрос: а где же Васюк? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но не особенно: ведь не раз Васюк бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но во всяком случае не нужно думать о собаке и о своей неблагодарности -- это ничему не помогает и уменьшает счастье.

Сутра собаке стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная в правилах строгого приличия, она тяжело поднималась с подстилки и шла на двор, шатаясь, как пьяная. Ее маленькое черное тело лоснилось, как всегда, но голова была бессильно опущена, и посеревшие глаза смотрели печально и удивленно. Сперва Владимир Михайлович сам вместе с теткой раскрывал собаке рот с пожелтевшими деснами и вливал лекарство, но она так мучилась, так страдала, что ему стало тяжело смотреть на нее, и он оставил ее на попечение тетки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и удивлялся, до чего он любит эту бедную собаку.

Вечером он ушел. Когда перед тем он заглянул в кухню, тетка стояла на коленях и гладила сухой рукой шелковистую горячую голову. Вытянув ноги, как палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и только наклонившись к самой ее морде, можно было услышать тихие и частые стоны. Глаза ее, совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и, когда он осторожно провел по лбу, стоны сделались явственнее и жалобнее.

-- Что, брат, плохо дело? Ну, погоди, выздоровеешь, печенки куплю.

-- Суп есть заставлю, -- шутливо пригрозила тетка.

Собака закрыла глаза, и Владимир Михайлович, ободренный шуткой, торопливо ушел и на улице нанял извозчика, так как боялся опоздать на свидание с Натальей Лаврентьевной.

В эту осеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так много звезд сверкало на темном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали, и голубым светом озаряли красивое женское лицо, и отражались в темных глазах -- точно светляк появлялся на дне черного глубокого колодца. И жадные губы беззвучно целовали и глаза эти, и свежие, как воздух ночи, уста, и холодную щеку. Ликующие, дрожащие любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъезжая к дому, Владимир Михайлович вспомнил о собаке, и грудь его заняла от темного предчувствия. Когда тетка отворила дверь, он спросил:

-- Ну, что Васюк?

-- Околел. Через час после твоего ухода.

Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, и подстилка была убрана. Но Владимир Михайлович и не хотел видеть трупа: это было бы слишком тяжелое зрелище. Когда он улегся спать и в пустой квартире замолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми



веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, одиноко умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что подумает тетка о нем, серьезном человеке, услышав, что он плачет о собаке.

С тех пор прошло много времени. Слава ушла от Владимира Михайловича так же, как и пришла -- загадочная и жестокая. Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы на этот обман и выместили его негодующими речами и холодными насмешками. А потом, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвение.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарные, чадные ночи и беспощадно карающие белые дни, и часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой квартире шаги тетки, а он лежал на своей кровати, смотрел в знакомое пятнышко на потолке и шептал:

-- Друг, друг мой единственный...

И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.

#### КОММЕНТАРИИ

Впервые, под заглавием "Собака" и с подзаголовком "Эскиз", в газете "Курьер", 1899, 13 ноября, No 314.

-----

## Мария Парр «ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»

### ДЫРА В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

Сделать закладку на этом месте книги

После обеда в первый день летних каникул мы с Леной провели между нашими домами канатную дорогу. Переправиться первой, как всегда, решила Лена. Она бесстрашно забралась на карниз, двумя руками схватилась за веревку, а босые ноги закинула вверх, сцепив их в замок. Тут я понял, что она вряд ли сумеет остаться в живых. Пока она карабкалась в сторону своего дома, все дальше и дальше от нашего окна, я не дышал. Лене скоро девять, и у нее сил поменьше, чем у тех, кто немного побольше.

Примерно на середине пути ее ноги, прошуршав веревке прощальное «ш-ш-шур», соскользнули вниз. И вот Лена болтается на высоте второго этажа, цепляясь за веревку только руками. У меня громко застучало сердце.

— Ой, — сказала Лена.

— Вперед! — крикнул я.



Двигаться вперед не так легко, как могут подумать некоторые, которые пелятся из окна, было мне разъяснено.

— Тогда виси! Я тебя спасу.

У меня вспотели ладони, так я думал. Я только надеялся, что у Лены они по-прежнему сухие. Страшно представить, если она грохнется с высоты второго этажа. Тут я и сообразил про матрас.

И пока Лена висела изо всех сил, я стащил с кровати папы и мамы матрас, вытянул его в коридор, толкнул вниз по лестнице, пропихнул в тесную прихожую, распахнул дверь на улицу и поволок его вниз в сад. Это был ужасно тяжелый матрас. Походя я сшиб фотографию прабабушки, и она разбилась вдребезги. Но лучше уж чтоб она разбилась, чем Лена.

По Лениным гримасам я понял, что когда я наконец появился в саду, она как раз собиралась падать.

— Ползаешь как черепаха, — просипела она сердито.

Две черные косички топорщились на ветру где-то в вышине. Я притворился, что ничего не услышал. Зависла она точно над живой изгородью. Пришлось мне положить матрас туда же. На изгородь. Не было смысла класть его в другое место.

Теперь Лена Лид смогла наконец расцепить руки и шлепнуться вниз, как перезревшее яблоко. Она приземлилась с мягким хрустом. Два куста в живой изгороди сломались мгновенно.

Я тихонько вздохнул. Сердитая Лена бушевала, выпутываясь из колючих веток испорченной изгороди.

— У, черт! Все ты, Трилле, виноват, — сказала она, выбравшись целая и невредимая.

Может, не я один виноват, подумал я, но вслух этого не сказал. Я очень радовался, что она жива. Все было как обычно.

ДРУЖИЩЕ ТРИЛЛЕ И СОСЕДСКАЯ КНОПКА

Сделать закладку на этом месте книги

Мы учимся в одном классе, Лена и я. Она у нас единственная девочка. Лена говорит, что если б сейчас не начались каникулы, она б упала в кому и так померла.



— Ты и так бы упала в кому, если б я матрас не подстелил, — сказал я ей вечером, когда мы снова пошли посмотреть на дырищу в изгороди.

Но Лена сказала: вряд ли. Ну в крайнем случае заработала бы себе сотрясение мозга. Подумаешь. Это у нее уже было. Два раза.

Но я все равно не мог не думать, что было бы, если б она упала, пока я тащил матрас. Как-то грустно, если бы она взяла и так померла. И у меня не стало бы Лены. А она мой лучший друг, хотя и девчонка. Я ей этого никогда не говорю. Не решаюсь сказать, потому что не знаю: а вдруг она меня своим лучшим другом не считает? Иногда я верю, что считает, а иногда — нет. Это по-разному бывает. Но я много об этом думаю, особенно когда с ней что-нибудь случается, например, она падает с канатной дороги на подложенный мною матрас; тогда мне все-таки очень хочется, чтобы она назвала меня лучшим другом. Не вслух, конечно, и не при всех, а так — шепнула бы просто. Но от Лены такого не дождешься. У нее не сердце, а камень, такое закрадывается подозрение.

А вообще-то у Лены зеленые глаза и семь веснушек на носу. Она очень худая. Дед говорит, что она — конь-девица, хотя на вид она больше похожа на велосипед. И в борьбу на руках Лена всем проигрывает, но это просто потому, что все жухают, говорит она.

Сам я, по-моему, выгляжу как все, у меня светлые волосы и ямочка на щеке. Необычного во мне только имя, но этого снаружи не видно. Мама с папой называли меня Теобальд Родрик. И тут же пожалели об этом. Нехорошо давать маленькому малышу такое большое имя. Но было поздно: что сделано, то сделано. Так что я уже прожил Теобальдом Родриком Даниельсеном Уттергордом девять лет. А это немало. Это вся моя жизнь. К счастью, все зовут меня Трилле, поэтому имя мне мало мешает, разве что Лена спросит иногда:

— Трилле, опять забыла, как тебя зовут?

— Теобальд Родрик.

Тогда Лена долго и заливисто хохочет. Иногда даже шлепает себя по бокам.

Изгородь, в которой мы с Леной проломили дыру, — граница между нашими участками. В маленьком белом домике с той стороны живут Лена и ее мама. Папы там никакого не имеется, хотя Лена говорит, что для одного места вполне бы нашлось, если разобраться в подвале. В большом рыжем доме с этой стороны живу я. У нас три этажа и темный чердак, потому что нас очень много: мама, папа, Мина четырнадцати лет, Магнус тринадцати, Трилле девяти и Крёлле — ей только три. Плюс дедушка в подвале. Как раз народу, говорит мама, чтобы успевать за всеми присмотреть, чтобы все шло своим чередом. Но когда приходит Лена, народу становится слишком много, и присмотреть за всеми уже не получается, поэтому все немедленно идет наперекосяк.





— Слушай, — сказала Лена, — по-моему, пора пойти посмотреть, не собирается ли кто-нибудь у вас пить кофе с плюшками.

И что вы думаете, она оказалась права: как раз пришел дед попить кофейку. Дед худой, лицо в морщинах, и волосы у него как сено. Он самый-самый лучший в мире взрослый.

Дед скинул деревянные башмаки и сунул руки в карманы рабочего комбинезона. Он всегда ходит в комбинезоне.

— Так-так... Дружище Трилле и соседская кнопка, — сказал он и поклонился нам. — Похоже, мы здесь за одним и тем же.

Мама в гостиной читала газету. Она не обратила внимания на то, что в кухне толпится народ. Это обычное дело — дед и Лена вечно толкутся у нас, хотя здесь и не живут. Но все время приходят. Лена проводит у нас столько времени, что стала сама себе соседкой.

Дед взял фонарик, лежавший на скамейке в кухне, и на цыпочках вошел к маме.

— Руки вверх! — закричал он и навел на маму вместо пистолета фонарик. — Кофе или жизнь, фру Кари!

— И плюшек! — крикнула Лена для порядка.

Лена, дед и я — мы умеем добыть кофе с плюшками почти всегда, когда захотим. Потому что у мамы нет сил говорить нам «нет». Особенно если мы просим воспитанно и вежливо. Уж не говоря о случаях, когда мы угрожаем ей карманным фонариком.

Отличная мы компания, подумал я, когда мы вчетвером сидели за столом, ели плюшки и болтали ни о чем. Мама сначала очень рассердилась из-за канатной дороги, но теперь снова стала веселая и вдруг спросила, хотим ли мы с Леной быть женихом-невестой на Иванов день.

Лена даже поперхнулась.

— Опять? Вы нас совсем заженить хотите, что ли?! — почти закричала она.

Нет, стала объяснять мама, она не собирается нас женить, но Лена перебила ее и сказала, что как-то подозрительно на это похоже.

— Мы с Трилле сыты по горло. Мы отказываемся, — решительно заявила она, даже не спросив меня.

Ну и не страшно. Я легко обойдусь без этого. А то каждый год на Иванов день нас с Леной наряжают женихом-невестой, сколько можно.



— Да, мам, не пойдет, — сказал я. — Придумайте нам что-нибудь другое.

Мама опять не успела рта раскрыть, как Лена грозно и упрямо сказала, что мы хотим делать на праздник ведьму для сжигания. Я чуть не ойкнул. А потом обрадовался. Почему всегда ведьму делают Мина и Магнус? Это же справедливо, чтобы нам с Леной тоже дали разок попробовать. Лена просила, умоляла, скакала, егозила и дергала маму за руку.

— Да пусть дружище Трилле и соседская кнопка сделают ведьму. А с женихом-невестой у меня есть идея получше, — вступился за нас дед.

Так и вышло, что нам с Леной поручили сделать на праздник в Иванов день ведьму. В последний раз, я думаю.

## ТУШЕНИЕ ВЕДЬМЫ

Сделать закладку на этом месте книги

Мы — и Лена, и я — живем в бухте Щепки-Матильды. Дед говорит, что Щепки-Матильды — это королевство. И хотя он страшный выдумщик и вечно присочиняет, мне нравится думать, что Щепки-Матильды — королевство. Наше личное. Здесь у нас между домами и морем — огромные поля, через них идет грунтовая дорога к фьорду. При дороге растет рябина, на которую можно взбираться, когда сильный ветер. По утрам, открыв глаза, я первым делом смотрю в окно на море и на погоду. Если дует прилично, то волны врезаются в мол с фонтанами брызг, которые разлетаются далеко по полям. А когда штиль, море выглядит как огромная лужа. Если присмотреться повнимательнее, видно, что море синее каждый день по-разному. Обычно я заодно отыскиваю взглядом лодку деда. Он встает в пять и отправляется рыбачить.

Выше наших домов проходит проезжая дорога. А за ней, еще выше, холмы, чтобы кататься с них зимой на санках и лыжах. Однажды мы с Леной сделали там трамплин, потому что Лена хотела перепрыгнуть через автомобильную дорогу на санках. Она приземлилась точно посреди мостовой и так ударилась попой, что еще два дня потом лежала на животе. Да еще откуда-то взялся автомобиль: ух и взвизгнули тормоза, пока мы мучились, сталкивая Лену на обочину.

На самом-самом верху, выше холмов, есть хутор Юна-с-горы. Он дедов лучший друг. А за хутором еще гора. Надо пройти вершину и еще немного, и тогда увидишь нашу маленькую горную избушку. До нее два часа ходу.

Нам с Леной известно все, что имеет смысл знать о Щепки-Матильды. И даже больше. Так что мы ясно представляли себе, где искать то, что нам нужно для изготовления ведьмы.



Спасибо деду, он научил нас вязать разные узлы. Мы с Леной вяжем их постоянно, хотя и вынуждены были торжественно и клятвенно пообещать, что никогда, никогда больше не будем делать канатных дорог. Вот Лена ловко затянула двойной морской, чтобы хоть как-то стянуть нашу ведьму, а то она так и норовила развалиться. Если уж Лена берется за дело, все у нее в руках горит. Но в этот раз мы возились очень долго, потому что сено упорно вываливалось обратно из старых тряпок, которыми мы пытались его обернуть. И ведьма получилась какая-то дохлая и обвислая. Нам ведь нелегко управляться с ней, она ростом с меня и Лену. Лицом ведьма тоже не вышла. Но мы с Леной отошли подальше, наклонили голову набок и внимательно и беспристрастно оглядели нашу ведьму.

— Божественно, — сказала Лена и улыбнулась, очень довольная.

Ну хорошо, решили мы, ведьма готова, отнесем ее в старую конюшню. Но тут явился Магнус.

— А чучело вам зачем? — спросил он. — Птиц пугать?

— Это не чучело, — объяснил я, — это ведьма на праздник.

Магнус захохотал как ненормальный.

— Это?! Ну и уродина, сроду такой не видел! Ладно, все равно сжигать.

Я очень рассердился. А Лена еще больше.

— Давай вали на берег, костер делай! — заорала она так, что на мне зашевелился свитер.

Магнус ушел, но мы долго слышали, как он смеется дорогой. Я сказал Лене, что он наверняка просто завидует — хочет, чтобы ведьму делали они с Миной, как обычно. Но это не помогло. Лена фыркнула и со всей силы наподдала нашей ведьме ногой. У бедной аж сено из пуза вылезло.

Мы пошли к Лене развести себе сока. Ленина мама рисует и делает из всего подряд искусство, так что весь их дом забит странными предметами. В ванной, например, стоит половина мотоцикла. Как только они свинтят его полностью, он станет целым. Лена пускала в своем стакане большие злые пузыри, а сама сердито стреляла глазами по сторонам. Внезапно она перестала дуть в трубочку, и вид у нее сделался задумчивый.

У них в углу на красном шкафу восседала огромная кукла. Я часто ее рассматривал. Рук у нее не было, краска на лице облупилась, но Ленина мама заделала дырки высушенными цветами. Вот на куклу Лена и смотрела.

Когда я понял, о чем она думает, я похолодел от ужаса.



— Мы не можем, да...

— Трилле, ведьм делают из старья и хлама. Этой кукле не меньше семидесяти лет, мама сама так, знаешь ли, говорила.

— Но не слишком ли она тогда старинная? — спросил я.

Тут и вопроса нет, заявила Лена. Для старья чем старше, тем лучше, я мог бы и сам понимать такие простые вещи. Она придвинула желтое кресло-качалку к шкафу и велела мне лезть вверх — за куклой.

— У меня коленки дрожат, — забормотал я.

Лена обхватила их своими тонкими пальцами:

— Ну, больше не дрожат?

Теперь, когда внутрь ведьмы мы вместо сена засунули куклу, дело пошло на лад. В очках, с клоунским носом и банным полотенцем на голове она выглядела как живая. Если не знать, ни за что не догадаешься, что это всего-навсего кукла. Мы спрятали ее к Лене под кровать.

Вечером я долго не мог заснуть. И в конце концов решил помянуть ведьму в вечерней молитве.

— Боженька, дорогой, ну сделай так, чтобы ведьма сгорела только понарошку, — попросил я.

Когда утром в Иванов день я спустился в кухню, там сидела баба-тетя.

— Оо, голубчик мой Трилле, — сказала она и подмигнула.

Баба-тетя толстая и старая, она дедова старшая сестра. Она живет в двадцати километрах от нас и приезжает в гости всегда, когда что-нибудь празднуют — Рождество и Пасху, дни рождения или День независимости. Ну и на Иванов день, конечно. Наша настоящая бабушка, которая была женой деда, умерла давно, в тридцать пять лет. Хорошо, что была запасная бабушка — баба-тетя.

Я как ее увидел, так внутри у меня стало тепло. У бабы-тети так прекрасно слеплено лицо, что она беспрерывно улыбается. Когда она приезжает к нам в гости, все начинают дурачиться и веселиться. Мы играем в «Людю», сосем карамельки от кашля и слушаем истории, которыми они с дедом сыпят наперебой. И еще она печет вафли. Часто говорят о чем-нибудь, что лучше этого нет ничего на свете, — так вот, лучше вафель бабы-тети на самом деле ничего в мире нет, серьезно.



День получился отличный. Даже папа играл и ел вафли со всеми вместе. Он наметил сегодня разбрасывать навоз, но мама сказала, что лучше бы денек обождать, а то будет вонять во время праздника. И папа легко согласился.

В шесть часов мама хлопнула в ладоши и сказала, что пора разводить костер. Я подумал: вот бы иметь на лбу кнопку, нажал ее — и исчез. Почему Бог не сделал нам таких? Было бы гораздо лучше иметь кнопку, чем этот пупок в странном месте.

Только все поднялись идти, как баба-тетя охнула, схватилась за спину и сказала, что ей надо прилечь. Дед тут же вызвался составить ей компанию — хотел еще получить вафель и карамелек, наверное.

— Я тоже останусь, — сказал я.

Но мне не разрешили.

Я весь день не видел Лену, но вот она появилась с нашей прекрасной ведьмой, завернутой в простыню. На лбу у Лены была глубокая морщина озабоченности.

— Оставим ее здесь лежать? — спросил я. Лена покосилась на Магнуса и помотала головой.

Все обитатели Щепки-Матильды собрались на берегу фьорда. Здесь были все мои, Лена с мамой, дядя Тор (это папин брат) и его подружка. На камнях у воды был разложен очень высокий и красивый костер, я таких еще не видел. Его сделали папа, Магнус и Мина, и вид у них был очень довольный и гордый.

— Ну вот, — сказал папа и расправил усы, — только ведьмы не хватает.

Лена кашлянула и вытащила ее из простыни. Все так и ахнули.

— Вот это красота! — сказала Мина с чувством, и все закивали.

Краем глаза я увидел, что морщинка озабоченности кой у кого сделалась глубиной с кратер. Я пощупал свой собственный лоб. Кнопка не появилась, увы.

Мина подхватила ведьму под мышки, раз — и взгромоздила над костром. Ноги у Мины ничуть не дрожали, хотя она стояла на высоте в несколько метров.

Мину удочерили к нам из Колумбии. Мама с папой забрали ее оттуда, когда она была несчастной маленькой сиротой. Иногда мне кажется, что на самом деле она индейская принцесса. Такой у нее вид. А тем вечером, когда она с развешивающимися волосами стояла выше костра, она была ну прямо вылитая индейская принцесса. Я даже





на время забылся и был беззаботным и веселым, пока дядя Тор не вытащил зажигалку. Только он собрался щелкнуть ею, как Крёлле закричала:

— Жених и невеста!!!

Все обернулись. Действительно, к нам через скошенное поле шли влюбленные. Дед и баба-тетя! По-моему, со мной случился шок. Это такая вещь, которая в кино случается. Баба-тетя оделась в папин костюм и была женихом. Она выглядела как жирный пингвин. А на деде было длинное белое платье, вуаль и туфли на шпильках. В руках как свадебный букет он нес свой кактус.

Чтобы люди так хохотали, как мы в тот вечер! Мама подавилась грушевым лимонадом и кашляла еще день. Даже дядя Тор не устоял, опустился на колени. И самое прекрасное, что про костер все и думать забыли.

Но едва дед и баба-тетя степенно подошли и уселись, дядя Тор опять достал свою зажигалку.

— Не поджигай, — быстро сказала Лена.

Все удивленно обернулись к ней, но прежде чем мы успели закончить дальше, дядя Тор поджег конструкцию. Я увидел, что Лена перестала дышать. И что она собирается с силами для дикого крика. Такого, который умеет издавать только Лена. Я едва успел заткнуть уши, как он прогремел:

— Гасите!!! — вопила Лена.

Пламя плясало, карабкаясь вверх от костра к ведьме.

— Мама, там кукла! Внутри ведьмы кукла! Гасите!!!

Первой опомнилась Мина. Она молниеносно вывалила из ведерка сосиски и зачерпнула в него воды из моря. Тогда очнулись и все остальные. Мы вылили и вывалили все, что было в ведрах и банках, и бросились к воде, мешая друг другу. Папа махал руками и командовал — пытался выстроить нас в цепочку: он член добровольной пожарной дружины в нашей деревне. Но ничего не помогало. Пламя поднималось все выше.

— Только не это, только не это, — причитал я

, боясь поднять на ведьму глаза.

А потом мы поняли, что не сможем погасить огонь: костер слишком высокий.



— Ничего не поделаешь, — крикнул дядя Тор и развел руками.

Когда он так сказал, пропала всякая надежда.

И тут заурчал трактор. Он по-прежнему стоял на поле с полным прицепом навоза. И теперь дед завел его и сдавал задом на бешеной скорости.

— Прочь с дороги! — кричал он, сдувая вуаль с глаз.

Мама вскрикнула. Это единственное, что она успела сделать, прежде чем невеста с разгону опрокинула полный прицеп навоза поближе к костру.

На короткое неповторимое мгновение небо стало коричневым. Помню, я еще подумал, глядя, как все приседают и накрывают головы руками, что это наверняка неспроста. А потом с неба полился навозный дождь. Мы стояли, а он заливал нас с головы до ног. И от него некуда было бежать. Мы видели и слышали только одно: как везде-везде кругом сыплются на землю коровьи какашки.

Когда все наконец прекратилось, все звуки в мире как будто бы исчезли. Остались только мы, жители Щепки-Матильды. На теле не было хотя бы крохотного местечка, не измазанного в навозе. Такое трудно когда-нибудь забыть.

Дверца трактора медленно открылась. Дед бережно поддернул повыше белое платье и пошел на своих шпильках к нам, лавируя среди навоза.

— Ну вот, — сказал он, кивнув на костер. Не было ни огонька, ни искорки. И костер, и ведьма были унавожены не хуже нас.

— Спасибо, дед, — шепнул я.

НОЙ И ЕГО КАТЕР

Сделать закладку на этом месте книги

А на следующий день мы с Леной пошли в воскресную школу. Еще и Крёлле с собой взяли.

Ночью лил дождь, и дорога была вся в лужах. Крёлле надела сапоги не на ту ногу, и в горку ее надо было брать на буксир.

— Какое счастье, что она не моя, — время от времени бурчала Лена, когда ей приходилось нас ждать, но я знал, что она так не думает. Крёлле золотая девочка. На



самом деле ее зовут тоже вроде моего. Констанция Лиллефин или что-то в этом роде. Никак не запомню.

В воскресной школе нам рассказывали о человеке по имени Ной. Он жил много тысяч лет тому назад в далекой стране. И на вершине горы построил лодку под названием ковчег. Это ему Бог так повелел. Потому что, сказал Бог, скоро начнется страшный ливень. И вся суша превратится в море. Поэтому Ною нужно поймать по паре всякого зверья, какое только есть, одного его и одну ее. И загнать их в лодку, пока не начался потоп, иначе они захлебнутся и погибнут. Народ, конечно, считал Ноя большим чудачком, ну что он стаскивает разную живность в корабль на вершине горы, но Ной не обращал на насмешников внимания. И как только он управился, начался дождь. Сперва вода покрыла поля и дороги, потом поднялась выше домов и деревьев, наконец дошла до горы, где был Ной со своим ковчегом, и смыла тяжелую лодку, и она поплыла. Ной с семьей и зверинцем плавал по волнам несколько недель. Ужас в том, что все, кто был не в лодке, утонули. Бога это тоже огорчило, так что потом он придумал радугу и пообещал никогда больше не проливать на землю столько воды за раз.

Мы шли домой, припекало солнышко, и вдруг Лена сказала:

— Что за дурацкое название — ковчег. Этот Ной мог бы придумать и получше.

— Может, его не Ной придумал, — возразил я, прыгая через лужу.

— А кто? — спросила Лена, прыгая через еще большую лужу. — Думаешь, в Библии ошибки?

— Думаю, ошибок в Библии нет, — ответил я, разбежался, чтобы прыгнуть через самую большую на нашем пути лужу, и приземлился точно в ее середину.

— Может, они буквы перепутали? — спросила Лена. — Первую запомнили, а остальные спутали. Это ведь было давно, Бог знает когда.

Я вылил воду сперва из левого сапога, потом из правого, потом из обоих сапог Крёлле по очереди. А потом спросил Лену: на чем же, по ее мнению, плавал Ной? Что это было — Ноев корабль? Или, может, целый крейсер?

Она ответила не сразу. Я даже решил, что она вообще ничего не придумает, но тут она выпалила:

— Катер!

Конечно же, у Ноя был катер, в этом Лена не сомневалась. Все знают, что катер — это такая лодка. А ковчег — это непонятно что, выдумка. И Лена вздохнула по-взрослому: ну как же так, писать такое в Библии.

— Катер ведь небольшой, — сказал я.



Лена кивнула.

— В том-то и дело, Трилле, что небольшой. Тогда ясно, почему динозавры вымерли. У Ноя не хватило для них места.

И вот как раз когда я представлял себе, как пыхтит и тужится бедный старик Ной, затаскивая на борт тираннозавра, меня осенила блестящая идея.

— Лена, а давай сделаем Ноев катер? Посмотрим, сколько живности мы наловим?

Оказалось, нет такого дела, на которое Лена мечтала бы потратить свой выходной с большей радостью!

Большой хороший рыбацкий катер есть у дяди Тора, он ходит на нем в море все дни кроме воскресенья. Вообще-то на меня с Леной он обычно злится и с ходу кидается, но катер — это не такая вещь, которая валяется под каждым кустом, выбирай — не хочу. Лена сказала, надо довольствоваться тем катером, который у тебя есть, даже если он дяди Тора. Неужели ты думаешь, спросила она, что Ной стал бы обращать внимание на дядю с немножко трудным характером, когда ему надо было спасать мир? Я пожал плечами, но сомнения у меня остались. А потом мы вручили Крёлле папе и дернули со двора на море.

Дядя Тор живет в третьем и последнем из имеющихся в Щепки-Матильды домов, у самого моря. В то воскресенье он уехал в город в кино. Катер болтался на привязи у мола. Всего и проблем — прыгнуть в катер, а потом спустить трап. У меня был опыт, потому что дядя Тор однажды брал меня с собой на рыбалку. Мы дисциплинированно натянули спасательные жилеты. И от этого сразу стало казаться, что хоть мы и берем катер без спроса, но все-таки поступаем еще не очень плохо. Мы даже приободрились и подумали надеть велосипедные шлемы, но не надели.

В Щепки-Матильды очень много разных зверей, больших и маленьких. Сначала мы принесли двух кроликов, которые живут в клетке под кухонным окном деда. Их зовут Февраль и Март. Они никак не желали смирно сидеть на палубе, но успокоились, получив по пучку одуванчиков. Потом мы сходили за сарай в наш курятник и притащили несущку номер четыре и петуха. От него было ужас сколько шума. Мы далее решили, что сейчас мама непременно нас услышит, но, видно, в доме работало радио, и все обошлось. Овцы пасутся летом в горах, так что нам достался наш единственный козел. Он одного возраста с Магнусом и имеет, как говорит дед, тяжелое чувство юмора. Взойдя на борт, козел первым делом сожрал у кроликов все одуванчики — пришлось нам рвать еще. Потом мы рыскали по всей Щепки-Матильды в поисках кота и кошки, но нашли одного только Жруна.

— Он такой жирный, что сойдет за двоих, — постановила Лена.



От всего этого таскания ослабли ремни на жилетах. Мы затагнули их потуже, принесли из кладовки столько банок для варенья, сколько смогли унести, и приступили к сбору насекомых. Мы добыли двух шмелей, двух червей, двух улиток, двух тлей, двух пауков, двух божьих коровок. Всего шесть банок. Пока мы покончили с этим, прошло уже много часов. Мы проголодались и натрудили спины. К тому же один из шмелей укусил Лену, когда она попыталась выяснить, какого он пола.

— Так мы никогда не закончим, — раздраженно прогудела Лена, растирая палец.

Все звери чинно разлеглись на палубе и нежились на солнышке. Раньше я никогда не видел животных на борту лодки. Может, они всю жизнь мечтали о том, чтобы прокатиться по морю, подумал я. Это была приятная мысль. Но катер все еще не был заполнен до конца.

Лена посмотрела на меня серьезно и сказала:

— Трилле, пора вести корову.

Дядя Тор держит телок. Это коровьи подростки, то есть тоже коровы, только не такие уравновешенные и послушные, как обычные, потому что у них переходный возраст. Они щипали травку перед дядиным домом. Ну почему, почему все, без чего нам сегодня не обойтись, обязательно дядино?! — тоскливо подумал я и пожалел, что у нас нет своих коров. Дядя Тор с ума сойдет от злости! У меня задрожали коленки, и я показал на них Лене.

— Трилле, надо нам что-то делать с твоими коленками, — строго сказала Лена.

Она была уверена, что дядя Тор и сам поймет, что мы не можем убивать весь день, наполняя катер букашками. Нам нужно крупное животное, которое занимает место.

У меня были опасения, что дядя не так просто войдет в наше положение, но вслух я ничего не сказал.

Мы постояли, наблюдая за телками, и выбрали самую взрослую и покладистую.

— Пойдем, моя хорошая, — позвала Лена и легонько потянула телку за веревку, которая была у нее на шее. И та как миленькая дошла с нами до волнореза, ни разу не взбрыкнув. Словно бы мы вели на поводу большую славную собаку.

— Ну вот, полна коробочка! — радостно сказала Лена.

Колени у меня не дрожали. Мы с Леной сумели повторить подвиг Ноя. Мы наполнили катер зверями. Нам осталось только завести на борт корову.





Но на середине трапа, гоня впереди себя телку, мы вдруг увидели, что козел объедает занавески в каюте. Лена страшно завопила на него. И все немедленно пошло наперекосяк.

Телку настолько напугал внезапный Ленин вопль, что она подпрыгнула примерно на полметра и с шумом и грохотом скакнула на катер. Внезапно на борту оказалась корова-подросток в этом... в шоке. С диким мычанием она стала отбрыкиваться от всех вокруг. Кот и кролики бросились врассыпную. Номер четыре и петух взвились в воздух и перелетели на берег, громко кудахча и отчаянно хлопая крыльями. Козел оглянулся в недоумении и наложил кучу посреди катера. Но на этом все не кончилось: корова поскользнулась на козлиных катышках и ударилась в окно каюты с недоеденными занавесками, разбив стекло. На борту была куча мала из перьев, какашек, одуванчиков и кроликов...

Мы с Леной стояли на трапе, опустив руки, и взирали на всю эту катавасию. Наконец корова сиганула за борт и шлепнулась в воду с царственным всплеском.

И тут на коровино счастье появился дядя Тор. К несчастью для нас.

— Что за шум?! — закричал он так, что наверняка было слышно в Колумбии.

— Вот, — просипела Лена. — Повторяем урок из воскресной школы.

Корова бултыхалась в воде, как маленькая коричневая моторная лодочка. Она, оказывается, боялась воды.

Дядя Тор не стал ничего говорить. Он прыгнул в катер, схватил со дна веревку и скрутил ее как лассо.

Он вообще-то не ковбой, мой дядя, поэтому ему пришлось много-много раз с причудливыми ужимками швырять лассо, пока оно случайно не попало корове на шею. Когда дядя Тор наконец вытащил свое сокровище на берег, он был такой мокрый и злой, что дохал огнем и пеной.

— Паразиты! — заорал он на нас с Леной. — Паршивцы!

Я очень порадовался, что он вынужден держать корову и поэтому не может броситься к нам.

— Если ты, Трилле Даниельсен Уттергорд, или ты, Лена Лид, попробуешь приблизиться к моему дому в ближайшие полгода, я свинчу вам башку и затолкаю в брюхо! — и он так замахал на нас руками, выгоняя со двора, что они чуть не поотрывались.



Мы припустили во все лопатки, добежали до игрушечного домика Крёлле и спрятались за ним. Я лег на спину, на душе у меня было серо и непонятно. А потом Лена сказала:

— Если у тебя башка в брюхе, можно подсматривать в пупок.

Родители всегда нутром чувствуют, когда ты набедокурил. Вот и в этот раз. Можно подумать, у них там радар специальный встроен. Мама, папа и Ленина мама заявили на нашу кухню с вопросом, что мы опять натворили. Мы даже жилеты снять не успели.

Деваться некуда, мы им все подробно объяснили и рассказали. Когда мы кончили, все трое молча уставились на нас круглыми глазами. И долго так сидели. В полной тишине. Лена вздохнула, как она делает на математике, тоненько и жалостливо. Я постукивал пальцами по жилету, чтобы обратить их внимание на то, как мы ответственно ведем себя на воде.

— Видишь, старина Ной, не забывают тебя, — проговорил папа, пряча улыбку в усы.

Мама посмотрела на него строго.

— Вы хоть что-нибудь соображаете, вы оба? — спросила она грозно.

Я не знал, что ответить, и просто кивнул. Даже мне было ясно, что для одних выходных приключений многовато.

— Сейчас вы идете вниз, просите прощения и возвращаете на место всех животных, — сказала мама Лены так, что спорить с ней не хотелось.

— Мне кажется, Тор не очень хочет нас видеть, — все же прошептала Лена.

Но ничего не помогло. Папа сунул ноги в деревянные башмаки и повел нас к Тору. Честно сказать, я был рад, что он пошел с нами. Он дяде Тору старший брат. В такие дни, как нынешний, об этом сразу вспоминаешь.

— Ну и псих же ты, Трилле! — закричал с чердака Магнус, когда мы проходили мимо.

Я сделал вид, что ничего не слышал.

— Жалко, шлемы надеть не успели, — шепнул я Лене.

В этот день в небе не было радуги, хотя мы с Леной нагрузили полный катер зверья. Правда, и дождя тоже не было. И все обошлось. У дяди Тора оказалась в гостях его подружка, а она любит детей. Даже таких, как мы с Леной. При ней дядя не может злиться ужас-ужас как.



— Мы никогда не будем брать ни твой катер, ни коров без спроса, — сказала Лена.

— И мы заплатим за разбитое стекло, — пообещал я.

Лена громко кашлянула.

— Как только у нас появятся деньги, — быстро добавил я.

А потом подружка дяди угостила нас яблочным пирогом с кремом.

Когда мы наконец разнесли и развели всех зверей кого куда, выпала ночная роса. Лена тихонько насвистывала.

— Трилле, знаешь, что рифмуется?

Я покачал головой.

— Козлище, дурище и вонища! — засмеялась она.

И побежала к себе. Проскочила через пролом в изгороди, потом за ней грохнула дверь. Она всегда так делает. Шваркает дверью так, что вся Щепки-Матильды содрогается.

Такая уж она, эта Лена Лид.

ВОЗЬМЕМ ПАПУ В ХОРОШИЕ РУКИ

Сделать закладку на этом месте книги

А на следующий день папа взялся за проект. Это обязательно случается с ним каждое лето. Проект — обычно строительство чего-нибудь большого и трудного. Что строить, всегда решает мама. В этом году ей захотелось, чтобы вокруг площадки перед домом была каменная стенка. Лена ужасно обрадовалась. Она очень любит балансировать на чем-нибудь.

— Стенка должна быть высокая и узкая, — распорядилась она.

Папа крикнул. Он стоял и разбирал камни. Он почему-то не любит проектов. Летом ему больше нравится пить кофе на лужайке. Мы совсем недолго постояли, глядя, как он кладет стенку, но папа попросил нас отойти далеко-далеко и играть там.

— А у тебя папы нет? — спросил я быстро-быстро, одним выдохом, когда мы промчались через наш сад и прибежали в Ленин, к Лениной каменной стене.



— Есть, конечно, — ответила Лена.

Она вытянула руки в стороны и шла по стенке задом наперед. Я смотрел на ее старенькие разбитые кроссовки, они уходили все дальше и дальше.

— А где он?

Этого Лена не знала. Он сбежал еще до ее рождения.

— Сбежал? — переспросил я в ужасе.

— Ты что, плохо слышишь? — Лена смотрела на меня сердито.

— А кстати говоря — для чего человеку вообще папа?

Я не нашелся, что ответить. И правда, какая от пап польза?

— Они могут что-нибудь построить. Стенку, например.

Стенка у Лены уже есть.

— Еще они могут... ну...

Я никогда раньше не задумывался, для чего нужны папы. В поисках какой-нибудь идеи я привстал на цыпочки и заглянул за изгородь. Папа с очень красным лицом костерил на чем свет дурацкий проект. Сходу и не сообразишь, на что он мне.

— Папы — они едят вареную капусту, — сказал я наконец.

И я, и Лена ненавидим вареную капусту. Она на вкус как водоросли. Но, к несчастью, у нас в Щепки-Матильды огромное капустное поле. Поэтому и моя мама, и Ленина стоят на том, что капусту надо есть обязательно, это очень полезно. А папа ничего такого не говорит. Он доедает за мной капусту. Надо только перекинуть зеленые тряпки к нему на тарелку, когда мама отвернется.

Насколько я понял, Лену мое сообщение, что папы едят капусту, заинтересовало. Со стены ей было отлично видно моего папу, занятого проектом. Лена поджала одну ногу и долго его рассматривала.

— Хм, — сказала она в конце концов и прыгнула на землю.

Попозже днем мы пошли в магазин, чтобы купить все, что забыл купить Магнус. В магазине работает Ленина мама. Когда мы пришли, она пересчитывала товар.

— Привет! — сказала она.

— Привет! — ответил я.



А Лена только рукой помахала.

Выйдя из магазина, мы стали читать объявления на двери. Мы так всегда делаем. Сегодня кто-то повесил большущее объявление. Мы наклонились поближе.

«В хорошие руки возьмем щенка.

Можно беспородного.

Обязательное условие: должен быть чистоплотным».

Лена перечитала бумажку несколько раз.

— Ты хочешь собаку? — спросил я.

— Нет, папу.

Магнус как-то рассказывал нам с Леной про объявления о знакомствах. Если человеку нужен жених или невеста, он публикует в газете такое объявление. Оказывается, Лена думала об этом в связи с папой, нельзя ли дать про него объявление. Но с газетами что плохо — никогда не знаешь, кто их читает. И можно нарваться на кого угодно — на бандита или даже на директора школы. Конечно, повесить объявление на нашем магазине, где мы знаем всех покупателей, гораздо безопаснее.

— Трилле, пиши ты, у тебя красивый почерк, — сказала Лена, выходя из магазина с бумагой и ручкой.

Одна косичка у нее расплелась, но в остальном вид был очень боевой и решительный. Мне ее затея представлялась сомнительной.

— Что писать? — спросил я.

Лена легла на деревянный столик рядом с магазином и стала думать. Она думала так сильно, что даже мне было слышно.

— Пиши, — скомандовала она. — «В хорошие руки возьмем папу».

Я вздохнул.

— Лена, ты думаешь...

— Пиши!

Я пожал плечами и написал.

Потом Лена замолчала, для ее непоседливости — очень надолго. Наконец она прокашлялась и продиктовала громко и четко: «Обязательное условие: должен быть хорошим и любить вареную капусту, но возможны варианты, если только он хороший и может доест вареную капусту».





Я нахмурился. Очень странное объявление.

— Лена, ты уверена, что надо писать про капусту?

Нет, этого Лена не знала. Главное, чтобы был хороший.

В конце концов получилось такое объявление:

«В хорошие руки возьмем папу.

Обязательное условие: должен быть очень хорошим. И любить детей».

На самом верху она написала свое имя и телефон, а потом мы приклеили наше объявление прямо под объявлением про щенка.

— Ты сошла с ума! — сказал я Лене.

— Вовсе нет, просто я хочу ускорить события, — ответила Лена.

И это ей удалось. Не прошло и получаса с тех пор как мы вернулись к Лене домой, как зазвонил телефон. Мне кажется, Лена как-то не успела спокойно подумать над тем, что мы зат

еяли. А теперь поняла. Телефон звонил и звонил.

— Брат не будешь? — прошептал я наконец.

Она встала и через силу подняла трубку.

— Алло?

Голос у Лены был тоньше нитки. Я прижался ухом к трубке с другой стороны.

— Приветик. Меня зовут Вера Юхансен. Это ты повесила объявление на магазине?

Лена вытаращила на меня глаза, прокашлялась и сказала:

— Да...

— Отлично! Тогда у меня есть интересный вариант. Он еще шалопай, конечно, но представляешь, он уже две недели ни разу не писал в доме!

Челюсть у Лены отвалилась приблизительно до пупка.

— Он писает на улице? — спросила она в ужасе.

— Представляешь, какой молодец! — Вера Юхансен была страшно этим горда. Совсем сумасшедшая. Папа, который не может писать дома!



Лена изменилась в лице. Но потом решила, что надо все-таки держать себя в руках. Прокашлялась и спросила очень светски, ест ли он вареную капусту.

На том конце трубки стало тихо.

— Нет, капусты я ему не давала. А твоя мама дома? Ее ведь это тоже касается, да?

Лена осела на пол.

Напоследок Вера Юхансен сказала, что заедет в пять с ним вместе. Когда увидишь своими глазами, легче решать.

Положив трубку, Лена долго сидела и смотрела перед собой.

— Трилле, твой папа пишет на улице?

— Очень редко.

Лена легла на живот и стала биться головой о пол.

— Ой-ой-ой, что скажет мама?

Это мы узнали быстро, потому что тут же с шумом распахнулась дверь и в дом влетела Ленина мама с пунцовыми щеками и объявлением в руке. Они вообще очень с Леной похожи.

— Лена Лид! Что это такое?

Лена молчала, распластавшись на полу.

— Отвечай! Ты с ума сошла?

Я понял, что Лена забыла ответ.

— Она хотела ускорить события, — подсказал я.

Мама Лены, к счастью, привыкла быть мамой Лены, поэтому такие происшествия не выбивают ее из колеи. Я посмотрел на нее и подумал, что наверняка многие хотят на ней жениться. У нее серьга серебряная в носу.

— Я никогда больше не буду так делать, — сказала Лена снизу.

Мама села рядом с ней. У них это в доме запросто, сидеть на полу.

— Хорошо еще, я сорвала бумажку прежде, чем кто-нибудь ее прочитал, — со смехом сказала мама Лены.

Я понял, что снова должен вмешаться.



— Вера Юхансен привезет нам одного в пять часов.

Мама Лены звонила Вере Юхансен семнадцать раз. Трубку никто не брал. А время шло. Без пятнадцати пять мы все трое сели за стол и стали ждать. Минутная стрелка подбиралась к двенадцати, деление за делением.

— Вы меня разыгрываете, — сказала мама Лены.

И тут позвонили в дверь.

На пороге стояла Вера Юхансен: улыбка, красная рубашка, голова наклонена к плечу. Мы стали заглядывать ей за спину. Папы никто из нас не заметил, но как знать — может, писает за углом.

— Здравствуйте, — сказала мама Лены.

— Здравствуйте, здравствуйте! — загремела Вера Юхансен. — Ну что, ждете не дождетесь посмотреть, кого я вам привезла?

Мама Лены попробовала улыбнуться. Не вышло.

— Мы пе-ре-ду-ма-ли! — закричала Лена.

Но эта Вера Юхансен уже сбежала с крыльца и неслась к своей машине. Есть такие дамы, которых невозможно остановить.

Но и Лену унять нельзя. Она выскочила на лестницу и побежала к машине, обгоняя Веру Юхансен.

— Он нам не нужен! Мы хотим, чтоб он писал в доме!

И когда она это прокричала, мы услышали писк из машины, и в окне показалась щенячья голова.

— Собака? — шепнула Лена.

Вера Юхансен сдвинула брови.

— А кто же еще? Ты разве не собаку хотела?

Лена ловила ртом воздух.

— Нет. Я хотела...

— Шиншиллу! — крикнула ее мама от двери.



Щенок Веры Юхансен был гораздо симпатичнее любой шиншиллы. Лена очень хотела его оставить, но всему есть предел, сказала ее мама.

Потом Ленина мама долго-долго возилась с мотоциклом, чтобы успокоиться. Мы с Леной сидели на стиральной машине и наблюдали за ней. Время от времени она просила подать ей инструмент. А в остальном было тихо.

— Лена, это ведь не просто так — взял и повесил объявление, — наконец сказала мама. — Ты хоть подумала, кто нам мог достаться?

Я перебрал в уме всех молодых людей, которые ходят в магазин.

— К тому же у нас нет места ни для какого папы, — донеслось из-под мотоцикла.

С этим Лена не согласилась. Можно ведь разобрать подвал.

— И у нас и так достаточно мужчин, — продолжали из-под мотоцикла. — Трилле, например.

Ничего глупее Лена давно не слыхала.

— Трилле не мужчина!

— А кто же я? — поинтересовался я.

— Ты сосед!

Вот оно что, подумал я. Нет бы ей сказать, что я ее лучший друг.

## ДЕД И БАБА-ТЕТЯ

Сделать закладку на этом месте книги

Почти что все взрослые нашей деревни поют в смешанном хоре. Смешанным он называется потому, объяснил нам папа, что те, кто умеет петь, перемешаны с теми, кто петь не умеет. Папа этим хором дирижирует и старается, чтобы каждый пел не хуже, чем может. А летом проходят певческие слеты. Тогда наш смешанный хор куда-нибудь едет и там встречается с другими хорами, намешанными таким же образом. Они составляют один большой хор и все выходные поют. Эти певческие слеты — отличная вещь, за много недель до поездки у взрослых только и разговоров — как здорово будет поехать на слет.

Мы, дети, тоже обожаем певческие слеты, потому что все взрослые, кроме деда, уезжают на целые выходные, и мама объявляет в Щепки-Матильды чрезвычайное положение. Но в этом году оно оказалось вдвойне чрезвычайное: дело в том, что Мина с



Магнусом едут в лагерь как раз в дни слета. И в Щепки-Матильды остаемся мы с Леной и Крёлле под присмотром одного деда.

— Что-то будет, — сказал он, прослышав об этой новости.

— Ларе, дорогой, у меня сердце разрывается, — причитала мама и думала даже вовсе не ехать на слет, так она боялась, что мы тут натворим в ее отсутствие. Лена, наоборот, была в восторге. Дед оставался нянькой и ей тоже.

— Какое счастье, что ты поешь как глухая ворона! — сообщила она деду, когда они с мамой пришли к нам вечером накануне отъезда договариваться о правилах.

Вечер получился очень длинный. После того как взрослые долго и основательно заклинали меня, Лену и Крёлле вести себя хорошо и ни в коем случае не строить в их отсутствие канатных дорог, наступила очередь деда.

— Дети должны заходить в воду в жилетах и кататься на велосипедах в шлемах. Хлеб в морозилке. Наш мобильный телефон записан...

Мама говорила и говорила. Дед кивал и кивал.

— ...И последнее, дорогой Ларе: никто из мелких жителей Щепки-Матильды — ни внуки, ни внучки, ни соседские дети не должны ездить в ящике на мопеде! — закончила она, но в этот раз дед не кивнул, и я готов поклясться, что он скрестил два пальца за спиной.

На другое утро в восемь ноль пять ко мне в окно заглянуло солнце и пощекотало в носу. Даже в моей комнате пахло кофе и жареной рыбой. Дедов запах! Я взглянул на море, синее-пресинее с мелкой рябью, и побежал вниз.

Крёлле и Лена уже сидели за столом и ели бутерброды с рыбой и майонезом. Дед питается одной рыбой. Поэтому коты вечно отираются у него внизу. Нашли родственную душу. Дед густо-густо намазал маслом мой бутерброд, будто сыр положил.

— Подкрепись-ка, дружище Трилле. Нам надо будет прокатиться. А то здесь сидеть — мхом зарастешь!

Дедов мопед выглядит как трехколесный велосипед, только задом наперед. Спереди у него огромный ящик. В нем дед возит продукты, но во время певческих слетов там могут прокатиться внуки, внучки или соседские дети.

Первым делом нужно было забрать две банки краски, которые отец заказал из города. Они должны были прибыть с паромом.

Мы решили, что понарошку у нас будет так: банки краски наполнены золотыми монетами. Поэтому за ними охотится шайка пирата Бальтазара, а мы — королевские





агенты из Щепки-Матильды и должны добыть заветные банки и надежно спрятать их в своей бухте.

— Главарь разбойников Бальтазар не остановится ни перед чем, чтобы заполучить деньги, — сказал я и прищурился.

— Он ест кроликов целиком, живыми, — драматически прошептала Лена.

— И рыбу тоже ест, — добавила Крёлле, округлив глаза.

Даже мама не заметила бы, что три ребенка с водяными пистолетами пустились в опасное путешествие с дедом на пристань в ящике мопеда. Мы вжались в дно, а сверху дед набросил на нас одеяло.

Дедов мопед дребезжит жуть как. У седоков языки в глотке болтаются от этой тряски. К тому же я так скрючился, что у меня свело ногу.

Наконец мопед остановился, и королевский агент Лена отбросила одеяло почти к краю пристани.

— Руки вверх! — закричала она театрально и навела пистолет на паром. — Не двигаться!

Как правило, на пароме мало пассажиров. Это я знаю, потому что папа работает на пароме и мы часто катаемся с ним туда-сюда по делу. Мы рассчитывали увидеть четыре-пять машин и матроса Биргера.

Но просчитались. Сегодня на одном из окрестных хуторов ожидался большой семейный праздник, на который съехалась родня со всей страны, и вот двадцать пожилых тетюшек в испуге таращились с палубы на нас с Леной.

— Ой, — прошептал дед, — влипли. Ну-ка мигом слетай за нашими банками!

Сам не свой от волнения, пронесся я по причалу, лавируя между цветастыми платьями, и наконец увидел матроса Биргера и нашу краску.

Я схватил у него банки и прошепелявил «спасибо» совсем без агентского задора. Было слышно, как вдалеке мини-агент Крёлле расстреливает несчастных родственников с криками «пиф-паф!».

— Шайка Бальтазара в полном составе, — шепнула Лена.

А дед пробурчал:

— Да нет, это всего-навсего Мария-Верхняя и Улова-Ловиза, мы в один год к пастору ходили, — и лихо отдал им честь.



Мини-агент продолжала пугать всех своим «пиф-паф!», пока Лена с грохотом не утянула ее вниз в ящик. Дед нажал стартер, и мы двинулись в обратный путь. Стоял такой треск и лязг, что мне показалось, будто меня перема-львают в миксере. Но через некоторое время Лена все же решила, что уже можно, и откинула одеяло. Я зажмурился от солнца.

Дед лег грудью на руль и выжимал полный газ. Иногда он оглядывался назад. Я посмотрел в ту же сторону и обнаружил, что мы возглавляем автомобильную процессию. В деревне дороги узкие, а дед гнал строго посередке. Так что не было никакого способа объехать его. И хотя он выжимал из мопеда все возможное, ехал он небыстро. А за ним тащились все машины с парома и опаздывали на встречу своего семейного клана. Они истощно гудели. Это напоминало праздничное шествие на День независимости с нами во главе.

Я видел, как дед усмехается в нагубник шлема. Вот ведь распетушился перед бывшими одноклассниками.

— Держитесь! — крикнул он вдруг. — Сейчас срежем!

Дед с трудом повернул мопед налево, на старую тракторную колею, которая ведет через поле к нашему дому. Трясло и болтало так, что я чуть не рассыпался на части.

— Йа-хоо! — издала Лена победный клич, когда мы вкатили наконец на двор и так резко затормозили, что из-под колес взметнулись сухие камешки.

Потом нам надо было превратить дом в неприступную крепость. Дед расхаживал с болтающейся на поясе скалкой и был главнокомандующим. Банки с краской мы поставили посреди гостиной, а потом забаррикадировали все двери, чтобы разбойники Бальтазара не прорвались внутрь. В ход пошла вся мебель, ничто не осталось на своем месте. Крёлле, которая стояла на часах, непрерывно кричала «Разбойники идут!» и хохотала до визга, когда мы делали вид, что в страхе сбегая к окнам, а особенно когда дед начинал махать скалкой как базукой.

— Нет ничего лучше певческих слетов, — сказал я Лене. Но она считала, что было бы еще лучше, если бы на нас по-настоящему напали пираты или разбойники.

Тогда дед предложил позвать бабу-тетю попить с нами кофе вечером.

— Это старая дочь главаря разбойников, — прошептала Лена.

Мы залезли на стол в комнате Мины и лежа на животе смотрели в окно. Голова бабы-тети приблизилась и оказалась точно под нами. Баба-тетя нажала на звонок. Мы с Леной осторожно подняли дула наших пистолетов.

— Ха-ха, попробуй войти!



Лена говорила грубым басом, и баба-тетя удивленно взглянула вверх.

— Здравствуй, голубчик мой Трилле! А ты меня непустишь?

Я быстренько объяснил ей, что она могущественная наследница ужасного разбойника Бальтазара. Баба-тетя опешила и уронила сумку. Внутри в потайном кармашке наверняка зашуршали карамельки от кашля.

— А дед? — спросила она погодя.

В узком окошке ванной рядом с входной дверью показался конец скалки.

— Руки вверх, фру Бальтазарова дочь! — закричал дед так, что загремела душевая кабина.

Баба-тетя растерялась лишь на минуту. Потом пообещала выкурить нас из дому и исчезла.

Прошло много времени. Бабы-тети нигде не было видно. Лена утверждала, что она уехала домой, но дед давал зуб, что она, конечно же, где-то тут и что-то замышляет, нам надо быть начеку. Тем более что последний автобус уже ушел.

И тут я учуял запах, от которого у меня по спине побежали холодные мурашки. Я кинулся вверх, к окну канатной дороги, Лена неслась за мной по пятам.

— Она печет вафли! — вырвалось у Лены.

И правда — она пекла вафли!!! Во дворе у Лены баба-тетя пристроила свою вафельницу на походный складной столик. Удлинитель тянулся на кухню через окно.

— У, черт, она без спросу проникла в мой дом! — вскрикнула Лена. Видно было, что Лена заужала бабу-тетю еще больше.

На столике уже исходила паром горка готовых вафель. Время от времени тетя взмахивала над ними полотенцем, чтобы ароматные клубы лучше поднимались к нашим окнам.

Мурашки разбежались по всему телу. Мы замолчали и тихо и благоговейно, словно в церкви, наблюдали за тем, как растет гора вафель. Даже дед сломался и тоже не отводил взгляда от окна. Ни у кого из нас не было сил следить за Крёлле, и в одну секунду эта вертихвостка выскочила в сад и кинулась к бабе-тетю! Та расцеловала ее. Посадила в шезлонг, а потом взяла вафлю — только с огня, большую, мягонькую, — смазала маслом, насыпала гору сахара и протянула Крёлле. Я чуть не заплакал.

— Мы сдаемся! — решительно сказала Лена.

— Нетушки, черти полосатые, — прорычал дед, хотя баба-тетя запрещает ему говорить «черти полосатые», когда мы рядом. — Трилле, бегом в подвал за удочкой!



А сам позвонил домой к Лене. Баба-тетя услышала звонок и посмотрела на наше окно.

— Мне взять трубку? — крикнула она, и Лена кивнула.

Баба-тетя сняла вафлю и убежала в дом.

— Здравствуйте, я представляю фонд помощи людям с прооперированной шейкой бедра, — завел дед елейным голосом, а сам делал какие-то отчаянные знаки в сторону то удочки, то окна. — Не согласитесь ли вы купить один лотерейный билет? Ваше пожертвование позволит нам...

Было ясно, что баба-тетя не станет покупать лотерейный билет, поэтому времени у нас в обрез.

— Крёлле! Сюда! Только тихо! — позвал я, спуская крючок вниз.

До Крёлле не сразу дошло, что надо нацепить вафлю на крючок. Она же еще маленькая. Пришлось долго-долго ей объяснять, но все же мы успели затащить вверх две вафли, прежде чем баба-тетя положила трубку и вышла из дому. Одну вафлю схватила Лена еще на лету.

— Давайте делиться! — почти закричал я.

— Трилле, нельзя разделить две вафли на троих! — объяснила Лена с полным ртом.

Пришлось нам с дедом обойтись одной на двоих. В саду Крёлле доедала уже пятую.

Через десять минут дед привязал наволочку к швабре и выкинул белый флаг. Мы сдались.

Поиграть в войну с разбойниками всегда здорово. Но перемирие гораздо приятнее. Так думал я, сидя в саду и объедаясь горячими вафлями вместе с лучшей в мире бабой-тетей.

— А почему он такой тонкий, а ты такая толстая? — спросила Лена посреди очередной вафли и посмотрела на деда с бабой-тетей.

— Она всегда съедала всю мою еду, — ответил дед, пригибаясь, потому что баба-тетя пыталась наподдать ему полотенцем.

— Раньше я не была такой толстой, друг мой Лена.

— А примерно какой толщины ты была? — хотела Лена знать подробности.



И дед с бабой-тетей принялись рассказывать истории. Баба-тетя была раньше красавицей, прямо как актриса. И так много народу хотело на ней жениться, что деду разрешалось лежать на крыше с рогаткой и пулять в женихов. В то время вообще не было толстых людей, потому что ели они только картоху и рыбу. Но в Рождество им давали апельсин. Если не было войны. Потому что тогда не давали...

Когда мы уже совсем ложились спать, позвонила мама. Она хотела знать, как у нас дела. Дед доложил ей, что все отлично, и старые, и малые вели себя приличнее некуда.

— Мы рассказывали истории из нашей жизни и ели вафли, — сказал он.

Мы с Леной хмыкнули.

— А можно я поговорю с Крёлле? — попросила мама.

Дед нахмурился и неохотно отдал трубку.

— Не говори, что мы ездили на мопеде, — шепнул я Крёлле.

Она кивнула и с важным видом взяла трубку.

— Крёлле, доченька, что вы делали сегодня? — услышали мы мамин голос.

Дед встал на колени перед своей младшей внучкой и сложил руки. Крёлле посмотрела на него очень удивленно.

— Я не садилась на мопед, — сказала она громко и внятно.

Дед опустил руки и с облегчением выдохнул. И мама там, на певческом слете, думаю, сделала то же самое.

— Вот и отлично, — сказала она. — А чем же ты занималась, дружок?

— Я лежала в ящике, — сказала Крёлле.

ИСАК

Сделать закладку на этом месте книги

День рождения у Лены только раз в году, как у всех остальных, но кажется, что гораздо чаще. У нее только и разговоров, что о дне рождения. Но наконец он наступил.

— Чтоб человеку исполнилось девять девятого июля! Здорово, да?

Ленина мама вернулась с певческого слета и теперь мыла какие-то фрукты, чтобы их засушить и сделать из них искусство. Мы с Леной перекусывали.

— Да уж, — сказала ее мама. — И какой ты хочешь подарок?





— Папу.

Ленина мама вздохнула и спросила, как ей выдать папу: в праздничной упаковке или в виде подарочного купона?

— Лена, красавица, а ничего другого ты не хочешь?

Нет, ничего другого она не хотела, но когда мы вышли на крыльцо, Лена остановилась, постояла-постояла, а потом приоткрыла дверь и крикнула в дом;

— Велосипед!

Лена пригласила к себе весь класс. Восемь мальчишек плюс я. За несколько часов до праздника я зашел проверить, как там праздничный пирог, хватит ли его на такую ораву.

Мне открыла Ленина мама.

— Трилле, ты вовремя, — сказала она. — Может, хоть ты сумеешь ее утешить.

Я удивился и вошел в дом.

На диване лежала Лена. Вид у нее был нехороший.

— Ты заболела? — спросил я в ужасе.

— Да, заболела! У меня сыпь на животе, — закричала она так, как будто это моя вина. — И никто не придет на праздник, потому что все побоятся заразиться в каникулы!

Лена швырнула подушку в стену, все фотографии вздрогнули. Вот это ужас!

— Ой, бедная, — сказал я.

Вскоре заглянула моя мама — посмотреть, не очень ли я мешаю

украшать пирог.

— Лена, ангел, ты заболела? — спросила и она тоже, усаживаясь на краешек кровати.

Мама хорошо разбирается в болезнях, потому что у нее куча детей.

— Кари, что это, по-твоему? — спросила мама Лены, принеся чай.

Мама считала, что это ветрянка. Я, сказала она, переболел ветрянкой в три года, а ею два раза не болеют. Так что я мог идти на праздник к Лене. Если она хочет.



Лена хотела, поэтому в шесть часов я постучал к ним в дверь в выходных шортах и с подарком в руках. Я подарил крокет. Мне кажется, Лене подарок понравился. Молотки можно приспособить для чего угодно, сказала она.

Праздник получился отличный. Ленина мама уложила Лену в гостиную, и она с дивана командовала нами как королева. Мы смотрели видик и съели втроем огромный пирог. Лена всего один раз рассердилась из-за своей дурацкой сыпи и запузарила в стену булочку с корицей.

— Вот любишь ты швыряться, — сказала ее мама и вздохнула.

К вечеру именинница почувствовала себя хуже, и я решил, что мне лучше пойти домой. Однако Лена и слышать об этом не желала. Фигушки, сказала она, где это видано, чтобы единственный гость смылся в полвосьмого, когда разрешили праздник до девяти. Ладно, я положил себе еще кусочек пирога, а Лена заснула.

— Я говорила с больницей, — шепнула мне Ленина мама. — Доктор все равно сегодня на нашем берегу, так что он заедет попозже.

И почти сразу в дверь постучали. Я вытянул шею и выглянул в коридор. Доктор был гораздо моложе, чем доктора обычно бывают, и ужасно симпатичный. Взрослые долго здоровались и любезничали в прихожей, а когда доктор наконец вошел в гостиную, он продолжал через плечо улыбаться Лениной маме, так что запнулся о порожек и буквально ввалился в гостиную.

— Это ты болен? — спросил он меня, когда ему снова удалось обрести равновесие.

— Нет, я уже болел, — гордо ответил я и показал на Лену на диване. Если б я этого не сделал, думаю, доктор плюхнулся бы прямо на нее. То-то крику было бы! Теперь же он осторожно пристроился с краешку и положил руку ей на плечо. Лена проснулась сперва немножко. А потом как проснется по-настоящему! Она посмотрела на доктора, как если б он спустился через крышу второго этажа, протерла глаза и взглянула на него еще раз. Потом резко села и завопила на весь дом:

— Папа!!!

Кусок пирога скатился у меня с ложки обратно на поднос.

— Mam, но ты же уже подарила мне велосипед! — продолжала Лена и смеялась от счастья, несмотря на сыпь, температуру и всю эту канитель.

— Я... этот, я врач, — пробормотал несчастный доктор.

— Мама, он еще и доктор! В семье всегда пригодится!



Мама Лены прибежала из кухни.

— Лена, он просто доктор, — объяснил я, чувствуя, что в животе начинается страшный смех. Я не знал, как его спрятать, и в конце концов решил выпустить его наружу, хотя Лена легко могла рассвирепеть. Но она так замучилась с сыпью и температурой, что сил сердиться у нее не было. Она просто натянула одеяло на голову и откинулась на лежанку как куль.

Когда доктор изучил каждый Ленин прыщ, до ближайшего паромы все еще оставалось больше часа. И Лена пригласила его на день рождения. Его звали Исак. Он только начал работать врачом и рассказывал, как ему страшно перепутать разные болезни.

— Но у меня точно ветрянка? — спросила Лена.

Да, Исак был совершенно уверен, что у Лены ветрянка.

Собравшись уходить, он увидел в ванной мотоцикл. И тут же оказалось, что у него самого мотоцикл, и в результате они с Лениной мамой так долго обсуждали мотоциклы, что доктор едва не опоздал на паром.

— Отличный день рождения, — сказала довольная Лена, когда Исак сумел уйти.

Ее мама улыбнулась как-то чудно и кивнула.

СЧАСТЛИВОГО ВАМ РОЖДЕСТВА!

Сделать закладку на этом месте книги

Лена поправилась быстро. Выздоровев, она первым делом решила тренироваться на вратаря. Она посмотрела по телевизору футбольный матч, пока болела.

— Трилле, от вратаря все зависит. Он командует, куда всем бежать.

Я подумал, что вратарь — это как раз для Лены. Она у нас в команде единственная девочка и злится по любому поводу. Поэтому остальные мальчишки из команды часто злят ее нарочно, и Лена считает, что у нее не команда, а сборище сумасшедших.

Летом нет ни тренировок, ни игр, но мы с Леной играем много, особенно когда поля скошены. Только беда, опять куда-то делся мяч. Я обыскал все, но не нашел. Пришлось идти к маме, просить купить новый.

— Знаешь что, мой друг, — сказала мама. — Это уже второй мяч за год. Новый даже не проси.



— Мама, но мне нужен мяч!

— Тогда придется тебе купить его самому, Трилле-бом, — сказала мама.

Взрослые легко говорят такие вещи, совершенно не думая, где их бедный родственник возьмет деньги.

Магнус сидел на двухъярусной кровати и играл во что-то на мобильном телефоне. У Магнуса всегда водятся деньги. Летом они с другом каждый день берут гитары и едут в город. Там они играют на пешеходной улице, и народ кидает им монетки в шляпу.

Я посмотрел на Магнуса и принял решение. Я тоже поеду в город на заработки. Если Лена поедет со мной.

— Мы будем стоять и петь так, чтобы все слышали? Ты серьезно? — спросила Лена, когда я пришел посвятить ее в мой план. Она приготовила себе свой фирменный завтрак, настолько вредный для здоровья, что готовить его можно только если никого нет дома.

Перестав на минуту жевать, она сказала:

— Надо на чем-нибудь играть, иначе никто не подаст.

— Мы только в блок-флейту дудеть можем, — напомнил я.

— Блок-флейта — хороший инструмент, — ответила Лена.

На том и порешили.

Нам надо было порепетировать. В последний раз мы играли так давно, что почти забыли о том, что у нас есть флейты. Сначала мы устроились у нас на кухне, но довольно скоро маме понадобилось послушать что-то чрезвычайно важное по радио, и она попросила нас пойти в другое место. В гостиной мы едва успели дунуть два раза, как папа сказал, что играем мы очень красиво, но, к сожалению, его голова не выносит никакого шума по вторникам. Тогда мы спустились к деду, но у него от нас запищал слуховой аппарат, пришлось нам убираться и оттуда. В конце концов мы заперлись в хлеву, сели на старый трактор и принялись репетировать.

Мы старались изо всех сил, правда, нашлась всего одна песня, которую мы оба знали, — «Счастливого вам Рождества!». Мы разучивали ее в школе для рождественского концерта.

— Красота, аж до мурашек пробирает! — сказала Лена.

Она считала, что мы поем божественно, как хор ангелов прямо.



Назавтра ярко светило солнце и было двадцать пять градусов. Море лежало как голубая крахмальная простынка. Дедова лодка казалась точечкой на горизонте.

Мы с Леной бегом бежали всю дорогу до пристани, и еще пришлось десять минут ждать парома. Поднимаясь на борт, мы спрятали флейты под футболками, но папа все равно их заметил. Он постучал пальцами по своему ящичку с билетами и посмотрел на нас сурово.

— Чтоб я не слышал на пароме ни полноты! Капитан может потерять ориентацию и врезаться в пристань, — сказал он.

Мы дали честное слово. Больше папа ни о чем не спросил.

Я люблю наш паром. На нем есть игровой автомат, на котором Мина знает как выигрывать. А Лена — как проигрывать. Еще там есть перила, по которым можно прокатиться, а внизу — киоск со сладостями и всяким баловством на выбор. Им командует Маргот. Она уже старая и может поквакать как жаба, если упрасивать ее достаточно долго. Мы с Леной дружим с Маргот. Когда папа берет нас с собой на работу, мы в основном сидим у нее внизу, только изредка бегаем на верхнюю палубу поплевать в море, и совсем редко нас пускают в рубку, если наверху все встали с нужной ноги. Но сегодня мы сразу юркнули вниз к Маргот.

— Ой, слава богу, вот так гости — малыш Трилле и сама Лена! Я вас все лето не видела!

— Но ты слышала про нас? — забеспокоилась Лена.

Что да, то да. Маргот слыхала немало — и про навозный дождь, и про ковчег.

— Я, например, стараюсь не верить всему, что говорят, — сказала тогда Лена.

Папа ни за что не хотел отпускать нас в город одних, но мы ныли и канючили. Там ведь Магнус. Мы знаем, где он играет. Вон его даже с пристани видно! В общем, папа сдался. Если мы пообещаем все время быть рядом с Магнусом, мы можем остаться до следующего рейса. Но точно к приходу парома мы должны быть на пристани.

Мы дали честное-пречестное слово. И припустили бегом на пешеходную улицу к Магнусу.

Они с Хассаном, его другом, как раз были на середине песни и заметили нас не раньше, чем допели ее до конца.

— А вы тут что делаете? — спросил Магнус. Он не был рад нас видеть, похоже.



— Нам надо заработать денег на новый мяч, — сказал я, вытаскивая флейту.

Хассан с Магнусом переглянулись и заржали. Я очень ясно почувствовал, как в Лене закипает злоба.

— Представь себе, мы все равно на мяч заработаем! — зашипела она на Магнуса.  
— И мы должны стоять, к несчастью, вместе с вами, потому что так велел твой папа!

И не успел никто пикнуть, как она затащила меня на соседнюю скамейку, стянула с меня кепку и бросила ее на землю нам под ноги.

— Начинай, Трилле!

Я забыл, какая толпа народу обычно прохаживается по пешеходной улице. А теперь я чуть в обморок не упал от ужаса.

— Лена, мне кажется, я не хочу, — просипел я, не шевеля губами.

— Ты хочешь играть в футбол?

— Хочу, но...

— Тогда дуди, трус!

У меня дрожали колени. Мой лучший друг сосчитал до трех. И вот мы стоим на скамейке в центре пешеходной улицы и играем песню «Счастливого вам Рождества!», от которой у Лены были мурашки восторга. Я смотрел только на флейту. Никто не захлопал, когда мы отыграли. Люди просто проходили мимо.

— Повторяем, — безжалостно распорядилась Лена.

И мы сыграли еще раз. Проходим было, судя по всему, жарко и некогда. Но вдруг одна дама взяла мужа за руку и сказала:

— Ой, Рольф, смотри, какие милые!

Она имела в виду нас с Леной. Мы сыграли еще раз, и дама с этим ее Рольфом положили в кепку двадцать крон. И сразу же человек семнадцать остановились, чтобы послушать наш рождественский гимн. У меня снова поплыло перед глазами, но я зажмурился и заставил себя думать только о футболе — и справился. Все хлопали и кричали: «Еще! Еще!» Вокруг скамейки собралась целая толпа. Мы с Леной сделались поп-звездами. Одна женщина даже сфотографировала нас и спросила, как нас зовут. После каждого «Рождества» Лена низко кланялась. А я кивал налево и направо, как делает папа на выступлениях смешанного хора.

— Наверно, уже хватит, — сказал я наконец.





Мы поблагодарили публику и слезли со скамейки. Кепка стала тяжелой от мелочи. Мы презрительно улыбнулись Хассану с Магнусом и помчались в спортивный магазин рядом с ратушей. Про папу мы как-то забыли.

— Еще сорок две кроны, — сказал дядька за прилавком, пересчитав наши медяки.

Волосы у него торчали во все стороны и были похожи на проволоку. И губа тоже была оттопырена. Я заметил, что Лена привстала на цыпочки, чтобы посмотреть, что у него такое с губой. Дядька определенно был злой и вредный.

— Сорок две кроны? Да мы заработаем их в две секунды, — сказала Лена.

Мы встали на лестнице перед магазином. Народу здесь было гораздо меньше, чем на пешеходной улице, но мы играли раз за разом и уже укладывали одно «Рождество» в девятнадцать секунд. Но тут в дверях показался вредный дядька.

— Прекратите ваш кошачий концерт! Вы мне распугали всех покупателей!

— Не можем. Нам надо еще... — Лена взглянула на меня.

— Двадцать шесть с половиной крон, — сказал я.

Дядька закатил глаза. Потом запустил палец за губу, выковырял оттуда большую плюху жевательного табака и швырнул ее прямо нам под ноги. После чего зашел к себе в магазин и с силой хлопнул дверью.

— За такое вызывают в кабинет к директору! — строго сказала Лена, и мы заиграли снова. Едва мы доиграли до середины следующего «Рождества», как дверь магазина снова распахнулась, и вредный дядька крикнул:

— Прекратите свой скрип! Вот вам мяч, вымогатели!

Когда мы вышли из магазина с новым мячом, я вспомнил про папу.

— Ой! — вскрикнул я, и мы припустили бегом.

Паром успел сделать три рейса, и папа был втрое злее — как я и боялся. А он когда злой, то большой и красный.

— Мы никогда так больше не будем делать, — пообещал я запыханно.

А папа зашумел:

— Не будем так делать, не будем так делать!.. Конечно, не будете! Вы с Леной никогда ничего не делаете два раза. Вы всегда придумываете новые безобразия!

Лена посмотрела на него ласково и взяла за руку.



— А ты рассмотрел мячик? — спросила она. — Он настоящий, профессиональный.

Я видел, что папа еще и немного гордится нами.

Мяч папе понравился, и он решил испробовать его. Но не так легко чеканить мяч в деревянных башмаках с билетной сумкой на плече. Внезапно башмак и мяч, описав красивую дугу, оказались за бортом. Я хлопнул себя по лбу. Мы дудели «Счастливого вам Рождества!», можно сказать, до посинения, а теперь папа утопил мяч в море. Мы даже опробовать его не успели!

— Прыгай в море и доставай! — сердито закричала Лена.

Но папа совершенно не собирался прыгать ни в какое море. Он побежал на причал и попросил сачок у немецкого туриста, ловившего рыбу. Этим сачком он выловил мяч, а башмак не вернулся из моря.

Обилетив всех пассажиров, папа спустился к нам с Леной и Маргот.

— Трилле, давай не будем говорить маме, что вы с Леной гуляли по городу одни без присмотра. О'кей?

Я пообещал.

Но это нас не спасло. На другой день в газете была огромная фотография нас с Леной. Женщина, которая нас сфотографировала, оказалась журналистом.

— Ты маленький хитрюга, Трилле-бом, вот ты кто, — сказала мама, выглядывая из-за газеты.

И я пообещал сыграть «Счастливого вам Рождества!» для нее одной, как только у меня будет время.

## КАК Я РАЗБИЛ ЛЕНУ В ЩЕПКИ

Сделать закладку на этом месте книги

Когда у тебя такой сосед и лучший друг, как Лена, ты все время попадаешь в разные истории, но иногда я думаю, что все-таки обычные спокойные дни я люблю больше. Дни, когда мы ничего такого не делаем, и я просто ем бутерброды с паштетом, и мы с Леной просто гоняем мяч, или ловим крабов, или болтаем о пустяках, и все идет своим чередом.

— Так по-твоему, обычные дни лучше Рождества? — спросила Лена с подозрением, когда я попытался поделиться с ней этими мыслями.

— Нет, — ответил я. — Но Рождество не может быть каждый день, иначе оно наскучит.



Лена заверила меня, что если бы Рождество бывало гораздо чаще, чем раз в году, она бы ни капли не заскучала, и больше мы об этом не разговаривали. А просто играли в футбол. И пробивая раз за разом против солнца Лене, стоявшей на воротах, я радовался нормальному обычному дню.

— Да, все-таки мне нужен папа, чтобы играть с ним в футбол. Он бы бил по-человечески, сильно, — сказала Лена, поймав один из лучших моих мячей.

Я вздохнул.

Мы сели передохнуть на лужайке, и Мина, красившая балкон, подошла и присела с нами. Мы с Леной сразу заулыбались. Мина почти такая же мастерица рассказывать истории, как баба-тетя, и делает она это с удовольствием. Теперь она легла на живот и стала рассказывать, почему наша бухта называется Щепки-Матильды.

— Давным-давно, — сказала Мина, — во фьорд вошел испанский пиратский галеон. На носу галеона красовалась потрясающей красоты носовая фигура — деревянная дева Матильда.

— Носовая фигура? — переспросил я.

И Мина объяснила нам, что в прежние времена носы кораблей украшали огромными деревянными куклами в красивых платьях и с развевающимися волосами.

— И вдруг налетел ураган, — продолжала Мина. — Настоящий жуткий древний ураган, сметающий все на своем пути. Корабль стало швырять с боку на бок, капитан потерял управление, и в конце концов пиратский галеон потерпел крушение в нашей бухте. Прекрасную Матильду ударило о прибрежные камни, и она разбилась в щепки. Это случилось примерно в том месте, где мы обычно на Иванов день тушим костер навозом.

— Ой, — сказали мы с Леной хором.

— Пираты не вернулись в родные края. Они нашли себе здесь жен и остались в нашей бухте. И назвали ее Щепки-Матильды в честь деревянной Матильды, раскрошившейся в щепки о прибрежные камни.

Мина наклонилась к нам с Леной и сказала шепотом:

— Один из пиратов был прапрадедушкой нашего дедушки.

Я очень долго не мог вымолвить ни слова, так напряженно я обдумывал фантастическую новость, которая не умещалась в голове.

— Мина, — сказал я наконец, — значит, во мне тоже течет пиратская кровь?



— Да, вы все из пиратов, вся семья, за исключением меня, потому что я удочеренная индейская принцесса, — засмеялась она, встала на руки и прошла так всю дорогу до балкона и краски с кисточкой.

Лена взяла мяч и подбросила его пару раз, но я сидел неподвижно и чувствовал себя совершенно другим мальчиком, чем пару минут назад. Во мне есть пиратская кровь! Может, я поэтому так много безобразничаю? Я просто ничего не могу с этим поделать.

Пиратская кровь берет свое.

— Тоже мне, — фыркнула Лена. — Ее в тебе такая капля, что один раз нос расквасил — и вся вытекла.

Она, конечно, тоже мечтала быть пираткой не в первом поколении.

Я взглянул на море. Дед был далеко, это нормально для потомственного пирата, что он из моря не вылезает.

— Лена, давай покатаемся на резиновой лодке, — попросил я, чувствуя, как моя пиратская кровь гонит и меня в море.

Лена посмотрела на меня удивленно, но сняла вратарские перчатки.

— Ладно. Бедная эта Матильда — представь, разбиться о камни.

Когда Лена немного погодя села в мою канареечного цвета лодку, на ней было длинное красное мамино платье со спасательным жилетом поверх него и царственная мина на лице. Я подумал про себя, что вряд ли ее мама позволяет брать свое платье для катания по морю, но ничего не сказал.

Мы обошли мол. Я чувствовал себя пиратом и был счастлив и всем доволен, но Лена заскучала довольно быстро. Быть носовой фигурой оказалось нудным занятием. Лежишь на носу, как деревянный чурбан, выставив голову за борт, — и все.

— Теперь как будто начался шторм, — сказала она.

Я стал раскачивать лодку, и Ленины волосы намокли в воде. Но вдруг она приподняла голову и спросила сердито:

— Ты будешь меня крушить или передумал?

Я пожал плечами и неспешно стал грести к молу. Лодка скользила вперед. Мимо, возвращаясь на берег, прошумела дедова моторка. От нее пошли высокие волны, и одна из них кинула мою резиновую лодочку на цементную кладку. Раздался грохот. От резиновых лодок такого шума не бывает. Другое дело, когда разбивается о камни носовая фигура галеона.



— Лена! — закричал я, увидев, что она безжизненно болтается, свесившись в воду.  
— Дед, Лен

а погибла!  
Примчался дед и вытащил Лену из моей лодки.

— Ну-ка, милая моя соседushка, давай-ка, давай-ка... — бормотал он.

Я сидел в лодке, вцепившись в весла, и не знал, как жить. Я только рыдал.

— О-о, — застонала Лена.

Потом она открыла глаза и посмотрела на деда, но не узнала его. И снова застонала.

— Ну вот, умничка, — сказал дед. — Сейчас к доктору поедem. А ты, дружище Трилле, можешь уже перестать плакать. Ничего ужасного не произошло.

Лена приподнялась на локтях.

— Ничего ужасного? Нет уж, Трилле, давай плачь! Кто так врезается? Дурак ты, не так надо было меня крушить!

Еще никогда я так не радовался, слушая, как мне говорят гадости. Лена не погибла, она только разбилась немного.

Но тут Лена обнаружила, что у нее кровит лоб, и отчаянно зарыдала. Дело кончилось поездкой в город к врачу, и когда я махал уезжавшей Лене, я думал, что не бывает спокойных дней, когда у тебя такой сосед и лучший друг, как Лена.

## ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ

Сделать закладку на этом месте книги

Дед обычно встает раньше, чем первые птицы какнут на землю, как он говорит. Иногда, летом, у меня тоже получается проснуться рано. Тогда я со всех ног мчусь на причал. Случается, что дед уже в море, и я вижу только точку где-то вдали. Это ужасно обидно — прибежать на мол в такую рань и потом мерзнуть там одному среди чаек, потому что все равно опоздал. Но иногда я прибегаю вовремя.

— Смотри-ка, дружище Трилле, — говорит дед, и бывает очень рад.

Вот что с дедом хорошо — я знаю, что он любит меня так же, как я его. А вон с Леной поди разберись.



В тот день я успел вовремя. И к шести утра мы были далеко в море, дед и я. Мы вытаскивали сети и почти не разговаривали. И было так хорошо, потому что дед был только мой.

— Мина говорит, что мы немножко пираты, — сказал я, любясь дедом.

Дед выпрямился, и я пересказал ему всю историю про Щепки-Матильды. Когда я закончил, дед зашелся в хохоте.

— А что, это неправда? — спросил я, почуяв подвох.

— Она врет так мастерски — уши расцветают, — сказал дед восхищенно. — Нам всем надо у нее учиться.

— Баба-тетя говорит, что врать нельзя, — строго сказал я.

— Хм, — сказал дед. И дальше смеялся про себя.

— Ты поэтому вчера стукнул Лену о мол? — спросил дед, помолчав.

Я кивнул и вдруг вспомнил про Лену: она вернулась домой вчера вечером с завязанной головой. Исак ее подлечил. Хуже всего, что у нее обнаружилось небольшое сотрясение мозга, так что ей надо целую неделю быть в покое.

— Ой-ой, — испугалась моя мама, услышав про это.

Когда у Лены в прошлый раз было сотрясение мозга и ей прописали покой, все в Щепки-Матильды чуть с ума не посходили. Лена не умеет быть в покое, у нее нет к этому таланта.

Теперь она стояла на самом краю мола, как маленькая статуэтка, и ждала, пока мы вернемся из моря — дед и я.

— Рыбалка! Рыбалка! Фу какие! — сказала она ворчливо, когда наша лодка ткнулась в мол. Она была ужасно сердита на нас и на свое сотрясение, даже вокруг стало темно и мрачно.

Бедная Лена. Мне захотелось сказать ей что-нибудь в утешение, и я признался, что во мне нет пиратской крови, что это все Мина насочиняла.

— Значит, меня напрасно разбивали! — завопила Лена и топнула ногой так, что камешки полетели во все стороны.

Выяснилось, что Лена злится не только из-за своего сотрясения. Она получила по почте кое-что неприятное.





— Погляди сам, — сказала она и ткнула деда в живот брошюрой. — Человек болен, он идет за почтой и надеется найти там открытку или что-нибудь хорошее, чтобы утешиться и взбодриться, а там лежит страшно сказать что. Как можно ходить и рассовывать по ящикам вот такое?

Я взглянул на заглавие. «Поздравляем с началом школьного года!» — было написано на брошюре. Лена обожает летние каникулы. А школу она совсем не любит.

— Раз так, — сказала она, — я лично впадаю в спячку до следующего лета.

Ой, бедная! Нам было ее очень жалко. И всю дорогу до дома мы шли молча.

— Везет тебе, ты в школу не ходишь, — буркнула Лена деду, когда мы подошли к дому со стороны балкона. Дед снял деревянные башмаки и открыл свою дверь. Ему просто свински повезло, что он не школьник, подтвердил он. И был во всем заодно с Леной. И чтобы поднять нам настроение, даже сказал, что может напечь вафель.

— Хотя знаете что, лучше угощу-ка я вас свежей рыбой с молодой картошкой, — быстро передумал он.

— Ну вот, конечно, — безжалостно сказала Лена, переполненная своими мучениями, — вафли-то ты печь не умеешь. А жалко.

— На самом деле наша бухта не называется Щепки-Матильды, — рассказал дед, готовя еду. — Все просто зовут ее так, потому что в свое время здесь жила одна женщина по имени Матильда. Ее покойного мужа звали Щепка, у них было четырнадцать детей, и всех их тоже звали щепки, Щепки Матильды, как меня зовут Уттергордов Ларе.

— И постепенно бухту назвали Щепки-Матильды? — спросил я.

Дед кивнул.

— В это даже не поиграешь, — протянул я почти разочарованно.

— Не поиграешь, слава богу! — встряла Лена.

Позавтракав, мы с Леной залезли на тую и сидели там, ничего не говоря. Я прямо чувствовал, как, пока я гляжу сквозь ветки на нашу бухту, из меня выветривается лето. Поля вдруг стали не такими зелеными, а ветер — не таким теплым.

Лена вздохнула обреченно, как на контрольной по математике.

— Печально, как быстро течет время, — сказала она.

А еще через неделю мы с Леной пошли в четвертый класс. Мне уже хотелось вернуться в школу, но Лене я этого не сказал. У нас оказалась новая учительница. Молодая, по имени Эллисив и с ласковой красивой улыбкой. Мне она сразу понравилась.



Но было и плохое: Кая-Томми дразнился и приставал так же, как до каникул. На самом деле это он у нас в классе главный. И он говорит, что надо выгнать Лену — и у нас будет отличный класс, одни мальчишки. Когда он так говорит, Лена обычно до того злится, что только фыркает, но теперь у нее появилась отговорка:

— Ты, верблюд цирковой, — говорит она, — а Эллисив? Она разве не девочка?

Так я догадался, что Лене тоже нравится наша новая классная, хотя Лена четыре дня смотрела на нее волком и не отвечала ни на один вопрос.

— Лена очень хорошая, когда к ней привыкнешь, — сказал я Эллисив после какого-то урока, выходя из класса последним. Я боялся, что она будет неправильно о Лене думать.

— По-моему, вы с Леной оба хорошие. Вы ведь с ней лучшие друзья, да? — спросила Эллисив.

Я подвинулся к самому ее уху.

— Я знаю, что половина из нас так думает, — прошептал я.

На взгляд Эллисив, это крепкий фундамент для настоящей дружбы.

Футбольные тренировки тоже начались. И сразу кончились скандалом. Лена сказала, что она летом тренировалась на вратаря и собирается защищать ворота нашей команды. Кая-Томми сказал на это, что ничего глупее он не слышал со времени последнего разговора с Леной. Не может быть и речи о том, чтобы у нас на воротах стояла девчонка! Лена разозлилась и буянила так, что горы аукались, и наш тренер разрешил ей попробовать постоять в воротах одну тренировку. Никто не смог ей забить ни одного мяча. И Лена стала нашим вратарем, а на турнире в городе в прошлые выходные мы благодаря ей обыграли всех. Лена надулась от гордости, как курица.

Говоря с бабой-тетей по телефону, я рассказал ей о турнире, но ее футбол ни капли не интересует. Она считает его глупой беготней.

— Одинокая пожилая дама сидит тут с холодной вафельницей, в которой ничего не пекли уже несколько недель, а вы мячик пинаете, — жаловалась она. — Ну что вам стоит отложить этот дурацкий мяч и приехать ко мне побаловаться вафлями?

Нам это, конечно, ничего не стоило. Я тут же спросил папу, и оказалось, что и ему удобно, он все равно собирался привезти бабу-тетю к нам на выходные.



До бабы-тети двадцать километров. Папа рулил, Лену укачало, но не вытошнило, она только побледнела очень сильно.

Баба-тетя живет одна в маленьком желтом домике, обсаженном розами. Папа много раз предлагал ей перебраться к нам в Щепки-Матильды. И я тоже просил ее. Но баба-тетя отказывается. Ей так хорошо в ее желтом домике.

Мы провели у бабы-тети полдня и помогали во всем. Когда мы приехали, начался дождь, и на улице стало темно. А внутри баба-тетя красиво накрыла на стол, и все было так тепло и уютно, что у меня заныло в животе. Сидеть на диване у бабы-тети и есть горячие вафли под шум дождя на улице — лучше этого нет ничего на свете. Я попытался вспомнить что-нибудь лучше этого, но не вспомнил.

Пока мы ели, Лена пыталась просветить бабу-тетю по части футбола.

— Надо сильно-сильно бить! — объясняла она.

— Фу-у — отвечала баба-тетя.

— А во время войны здесь сильно стреляли? — спросил я.

Я знал, что баба-тетя гораздо больше любит говорить о войне, чем о футболе.

— Нет, голубчик мой Трилле, стреляли, к счастью, не сильно, но было много других не приятных вещей.

И баба-тетя рассказала, что во время войны немцы запрещали людям держать радиоприемники, они боялись, что в своих программах норвежцы станут подбадривать друг друга.

— Но у нас радио было, — сказала баба-тетя и подмигнула хитро. — Мы закопали его за сараем и выкапывали, когда хотели послушать.

Родители деда и бабы-тети во время войны все время нарушали все запреты и правила, потому что во время войны все наоборот. И то, что запрещают, как раз и есть самое честное и правильное.

— Вот бы так всегда было, — размечталась Лена, но баба-тетя сказала, чтобы мы так и думать не смели. Потому что когда человек попадался, то все. Если бы немцы прознали, что их папа слушает радио, его бы арестовали и усадили.

— Вот, тогда и у тебя тоже не было бы папы, — сказала Лена.

— Это верно, — сказала баба-тетя и погладила Лену по голове.

— А куда ссылали тех, кто слушал радио? — спросил я.

— В Грини.



— В магазин «Рими»? — переспросила потрясенная Лена.

— Нет, в Грини. Концлагерь, который они устроили в Норвегии. Это было очень неприятное место, — объяснила баба-тетя.

Лена посмотрела на нее задумчиво.

— Ты очень боялась? — спросила она наконец.

Бабе-тете не бывает страшно, — сказал я, прежде чем она успела ответить сама. — Потому что когда она спит, ее стережет Иисус.

И я повел Лену в спальню бабы-тети и показал ей картину над кроватью.

— Видишь? — сказал я. На картине был нарисован ягненок, который застрял на узком выступе горы, не в силах двинуться ни выше, ни ниже. Мама-овца стоит наверху горного кряжа, она отчаянно блеет и очень боится за своего малыша. Но Иисус крепко всадил свой посох в расщелину дерева, перегнулся вниз и сейчас спасет ягненка.

Лена наклонила голову набок и долго рассматривала картину.

— Она волшебная? — спросила Лена наконец.

Этого я не знал. Я только знал, что бабе-тете никогда не бывает страшно, потому что Иисус стережет ее, когда она спит.

По дороге домой я сидел впереди и переключал передачи, а Лена ехала сзади с бабой-тетей. Ее укачивало все сильнее, и, немного не доехав до дома, она выскочила на поле и пошла тошниться.

— Трилле, это потому что ты дергаешь ручку как дурак, — сообщил мне мой лучший друг болезненным голосом, вернувшись назад в машину. Я сделал вид, что ничего не слышал. Хотя подумал, что съеденные Леной девять вафель с маслом и сахаром тоже сыграли свою роль.

— Фрекен, чтоб к утру поправились, — сказал папа, — а то как вы будете искать с нами овец?

Мы с Леной вытаращили глаза.

— Нас берут? — почти крикнул я.

— Да, по-моему, вы уже достаточно взрослые, — сказал папа самым обычным голосом.



Удивительное дело, как сильно человек может радоваться!!!

## СГОН ОВЕЦ С ПОЛЕТОМ НА ВЕРТОЛЕТЕ

Сделать закладку на этом месте книги

Все лето наши овцы ходят по горам без присмотра и делают что хотят. Но перед зимой мы должны собрать их всех и спустить вниз, в хлев.

— Вот и у них каникулы кончились, — говорит обычно Лена. — Так им и надо!

Она считает жуткой несправедливостью, что у овец каникулы дольше, чем у людей.

И вот нас с Леной берут искать овец! Я едва верил в то, что это правда, стоя на другой день со всеми своими, минус Крёлле, плюс Лена с мамой. И дядя Тор. Папа, с мешком и в бейсболке, спросил, все ли готовы. И когда мы тронулись вверх по горе, мы помахали деду, Крёлле и бабе-тете, махавшим нам снизу, как всегда делали мы сами. Лена, кстати, никогда не махала. Она всегда поворачивалась спиной и была злая как незрелый хрен, когда все уходили искать овец без нее.

Чувствовалось, что лето уже кончилось. Воздух был жесткий, а деревья нависли над головами мокрые и от воды тяжелые, едва мы, миновав хутор Юна-с-горы, зашли в лес. Мы с Леной были в сапогах и прыгали в каждую встречную лужу, как пара кроликов.

— Идите спокойно, — увещевал нас папа. — Иначе устанете понапрасну.

Но невозможно идти спокойно, когда человек так рад. Ноги скачут сами по себе.

Скоро мы вышли из лесу и подошли к самой горе. В этом месте она почти плоская, и все выглядит иначе.

— Это потому что мы ближе к небу, — сказала Ленина мама и стала прыгать по камням со мной и Леной.

Когда мы обернулись, бухта была далеко-далеко внизу. Изредка мы видели овец. Иногда наших, иногда чужих. Но сегодня мы овец не собирали. Мы должны были дойти до избушки и там заночевать.

Избушка наша на самом деле почти землянка, без туалета и электричества. Но в ней помещается много народу, если лечь поплотнее. И я не знаю другой такой прекрасной избушки. Она похожа на бабу-тетю — видно, что она тоже радуется, когда мы приходим.



Скоро со всех сторон потянуло запахами высокогорной жизни. В избушке мама и дядя Тор на плитке жарили мясо, снаружи папа варил на костре кофе.

У папы в горах всегда отличное настроение. Тогда можно спросить его о том, о чем в другое время не решаешься. И он смеется почти постоянно.

— В горах нельзя кукситься, — сказал он, когда я спросил его об этом. — Ты разве сам не чувствуешь, Трилле-бом?

Я прислушался к себе, и почувствовал, и кивнул головой. Лена говорила, что если все и вправду так, то хорошо бы посылать папу в горы гораздо чаще. Она сидела по другую его руку и смотрела в костер. И в эту минуту мне очень захотелось дать и Лене немножко папы. Чтобы она узнала, каково это — иметь папу, который может сложить костер и любит горы. По-хорошему, она могла бы одалживать моего папу иногда.

— Угу, каждую среду между обедом и ужином, например, — буркнула Лена, когда я сказал ей это. — И я бы выгуливала его в горах.

А на следующий день все пошли искать овец. Нам с дядей Тором достались горы под названием Тиндене, они с одного бока пологие, а с другого почти отвесные. Папа показывал пальцем, объяснял и давал советы: он собирает овец в горах каждый год с моего возраста.

— Хорошенько смотри за детьми! — крикнул он своему младшему брату.

— Ой-ой, — ответил дядя Тор.

Дядя Тор шагает широченными шагами, мы с Леной за ним не поспеваем. Я думаю, он считает нас еще слишком маленькими и не хотел, чтобы нас брали, а теперь старается доказать свою правоту.

— Ты плохо за нами смотришь! — сердито крикнула Лена.

Ей пришлось остановиться — вытряхнуть из сапога камни, а дядя Тор шел себе и шел. И делал вид, что не услышал.

— Лена, пошли, — сказал я.

— Нет!

— Мы должны искать овец.

— Вот именно!

Я вздохнул, снял капюшон и тоже услышал испуганное тихое блеянье, почти уже и не блеянье.





Мы с Леной проследили звук. Он шел от края горы. Мы легли на пузо и подползли к обрыву.

— Ой! — сказал я.

Далеко внизу на узком выступе стояла овца. Видимо, уже очень давно. Она так ослабела, что едва могла блеять. А если бы мы ее не нашли?! Я выдвинулся еще немного вперед и сумел прочитать цифры на метке в ухе. 3011.

— Наша, — сказал я.

— Как она туда спустилась, не пойму, — сказала Лена и выдвинулась еще немного за край.

— Так, наверно, — ответил я и показал на очень крутую расщелину, спускавшуюся как раз к выступу. Я выпрямился и стал высматривать дядю Тора. Его нигде не было. Когда я обернулся снова к Лене, ее не оказалось тоже.

Сердце застучало так, что стало больно.

— Лена, — прошептал я.

Нет ответа.

— Лена!

— Эй!

Я потрясенно перегнулся через край.

— На кого я похожа? — кричала Лена и озорно глядела на меня снизу. Она висела, уцепившись за маленькую горную березку, торчавшую в расселине, и упиралась подошвами желтых сапог в жидкие кустики травы на крошечном выступе в горе.

— На себя.

Лена закатила глаза и вытянула свободную руку в воздух, словно бы пытаясь схватить несчастную овцу далеко внизу.

— Я похожа на Иисуса, дурень!

Я покачал головой.

— Иисус не носил красного дождевика. Лезь обратно!

Но нет — теперь Лена решила снять дождевик.



— Лезь обратно, Лена! — крикнул я, испугавшись, и рванулся вперед, чтобы протянуть ей руку.

Но как только Лена сделала шаг наверх, березка вырвалась из горной стены, и Лена полетела вниз с деревом в руке и воплем на губах.

Много раз на моей памяти Лена падала с высоты, но никогда я не был настолько уверен, что теперь она точно разбилась насмерть. Не забуду этого жуткого спазма в животе, когда я высунулся насколько сумел далеко за край обрыва и посмотрел вниз отвесной горной стены.

— О-о, моя рука! — донесся вопль откуда-то снизу. Мой лучший друг сидел на выступе чуть пониже овцы и раскачивался взад-вперед, баюкая руку.

— О, Лена!

— «О, Лена», «о, Лена»! Я руку сломала! — крикнула она яростно.

Я видел, что ей очень больно. Но она никогда не плачет, Лена Лид. Даже и сейчас слезинки не проронила.

Если б я мог кому-нибудь объяснить, как я бежал! И что это за родной дядя, который уходит так далеко, ни разу не оглянувшись?! Больше всего я боялся, что Лене надоест сидеть там, где она сидит, и она начнет карабкаться наверх. Это было бы очень на нее похоже. Я бежал так, что у меня был кровавый привкус во рту, и все время перед глазами у меня стояла Лена в красном дождевике, как она падает без парашюта, будто крошечный злой супермен. Я понял тогда вдруг, что если с Леной что-то случится, то я тоже не смогу жить дальше. Куда подевался этот дядя Тор, ну куда?! Я кричал, спотыкался, бежал и снова кричал. Так я добежал до места, где Тиндене начинают полого спускаться вниз. Там я наконец нашел дядю, но был уже так зол, что только всхлипывал.

— Если меня каждый раз будут снимать вертолетом, я готова падать с Тиндене чаще, — сказала Лена, когда мы с ней сидели на туге дня через два. Она была переполнена всем, что с ней произошло, — особенно тем, что за ней прислали вертолет.

— А когда меня загипсовали, мы с мамой и Исаком отпра

вились в кафе. Потому что я столько раз попадала в больницу, что это пора было отметить.

Лена засмеялась и стала барабанить по своему гипсу.

— Трилле, а ты небось тоже хотел бы упасть с Тиндене?



Я улыбнулся, но ничего не сказал. На самом деле Лена не понимает, как я боялся, что потеряю ее, если она разобьется, упав с Тиндене. Я даже не мог сказать этого вслух. Но когда я ложился вечером, то не мог отделаться от грустной мысли: наверняка Лена не так сильно боялась бы за меня, если бы я сидел на том выступе.

ЛЕНА ДЕРЕТСЯ

Сделать закладку на этом месте книги

Однажды вдруг заехал Исак, хотя все были здоровы. Он въехал во двор на мотоцикле, мы с Леной играли в это время в крокет. Лена от удивления забила шарик в живую изгородь. Это ее всегда злит.

— Со мной все в порядке, — грубо сказала она.

Исак ответил, что он рад слышать, что с Леной все в порядке. Это даже немного непривычно, сказал он, но очень хорошо.

Оказалось, что он привез деталь для мотоцикла в ванной.

Мамы нет дома. А она эту деталь заказывала? — спросила Лена придирчиво.

— Нет, это сюрприз, — ответил Исак.

Видно было, что он смущен и нервничает. Думаю, я бы тоже чувствовал себя неловко, если бы приехал вот так сюрпризом, а там Лена с молотком для крокета.

— Не хочешь поиграть с нами, пока она не пришла? — выпалил я, прежде чем Лена еще раз открыла рот.

— С радостью, — сказал Исак.

Лена замолчала и стояла молча, но вдруг вспомнила о загнанном в кусты шарике.

— Ладно, играем сначала, — вздохнула она и сунула руку в кусты, нащупывая шарик.

Потом Исак стал приезжать часто. Половина мотоцикла постепенно стала похожа на целый. Первые недели Лена вообще не заикалась о госте ни словом. Она словно бы делала вид, что Исака нет. Но однажды, когда мы сидели на туге и смотрели, как ее мама и Исак закрывают цветник еловыми ветками, Лена сказала:

— Он не ест вареную капусту.

Я подался вперед, чтобы лучше видеть между веток.

— Лена, разве это так важно, про капусту?

Лена пожала плечами. Я видел, что она усиленно думает.



— Но для чего они тогда нужны, Трилле?

Я и в этот раз ничего не мог сообразить, мне даже стало совестно, что я не могу сказать ничего про папу.

— Он еще ест вареную морковку, — сказал я наконец, чтобы не молчать.

Исак тоже, с восторгом сообщила Лена на следующий день. Она скормила ему три морковины в дополнение к его собственным. Дед захохотал и сказал: «Бедолага». И Лена побежала обратно, потому что «бедолага» еще сидел у них в гостях. Я смотрел ей вслед, как она пробежала через пролом в изгороди и исчезла.

— По-моему, Лене приятнее проводить время с Исаком, чем со мной, — сказал я деду.

Он попытался заштопать дырку на носке. С очками на носу он был очень похож на сову.

— Это хорошо для Лены, что у нее появился Исак. Вот. Так что ты должен потерпеть, дружище Трилле.

— Конечно, — сказал я, подумав.

Дед обычно бывает прав.

Не знаю, морковь ли тому причиной, но Лена стала веселая и счастливая. Как будто рядом со мной поселилась бабочка. С непривычки это казалось странно.

Но в конце ноября, в среду, она вдруг снова сделалась прежней. Только гораздо более сердитой и мрачной. Я увидел это сразу, как только мы встретились, чтобы идти в школу. Она не сказала мне «привет». А это знак беды. Но в общем-то было даже неплохо, что она снова вела себя так. Это как раз нормально.

Я ничего не сказал. Потому что всем известно, что когда Лена такая, ничего говорить не надо.

И, конечно, Кая-Томми все равно к ней полез. За что и поплатился.

Это была переменка после математики. Почти все съели завтрак и выходили из класса. Эллисив сидела за столом и что-то писала. Когда Лена проходила мимо Кая-Томми, он прошелестел так тихо, что Эллисив не услышала:

— Гнать девчонок из нашего класса в шею!



Лена резко остановилась. У меня свело затылок. Другие мальчишки тоже поняли: что-то будет. И все уставились на Лену и Кая-Томми. Лена стояла прямая, как ржаной крекер, с мышиными хвостиками косичек, и была в такой ярости, что я боялся дышать.

— Если ты скажешь это еще раз, я так тебе звездану, что улетишь в сортир и дальше, — прошипела она.

Кая-Томми криво улыбнулся, чуть наклонился вперед и повторил:

— Гнать девчонок из нашего класса!

Удар! Лена Лид, мой лучший друг и соседка, так съездила Кая-Томми по физиономии, что он отлетел прямо к столу Эллисив. Все выглядело как в кино. Точь-в-точь кино, я такое сам видел, хотя мне нельзя смотреть фильмы «старше пятнадцати». И сделала это Лена Лид. Только что освобожденной от гипса рукой она нанесла удар, о котором шли разговоры еще много недель.

Не считая скулежа поверженного на пол Кая-Томми, было совершенно тихо. Все были потрясены, включая Эллисив. Что как раз не странно — ей, считай, на голову ученик свалился. Но когда Лена пошла к двери, чтобы выйти из класса, наша учительница сердито закричала:

— Куда ты собралась, Лена Лид?

— К директору, — ответила Лена.

В тот день Лену отругали все-все-все, но она так и не извинилась перед Кая-Томми.

— Я извинилась перед директором, хватит с них, — сказала она мне, когда мы брели до мой после школы.

Лена несла письмо родителям, она спрятала его под куртку вместе с рукой.

— Лена, все говорят, что это здорово, что ты в нашем классе. Они считают тебя самой крутой девчонкой во всей школе. Они сами так говорят, — рассказывал я.

Это была правда. Все мальчишки очень уважительно говорили о Лене весь день.

— Какая теперь разница, — грустно сказала Лена.

— Что ты имеешь в виду?

Но Лена не ответила.

Дома оказался Исак. Очень кстати, потому что у Лены ужасно болела рука.

— У этого Томми такая жесткая морда, — пожаловалась Лена, отдавая Исаку письмо. Он передал его Лениной маме.



— Лена, ну что ж ты у меня за ребенок, — вздохнула мама, прочитав письмо.

Исак заподозрил трещину у Лены в руке.

— Наверно, он далеко отлетел, этот Кая-Томми, — сказал он восхищенно.

Я встал и отмерил шагами расстояние на кухонном полу и прибавил еще пару шагов, чтоб сделать Лене приятное.

СНЕГ

Сделать закладку на этом месте книги

Трудно понять, как скоро придет зима, потому что она начинается исподволь. Но наступает день, когда мама говорит, чтобы я надел под штаны колготки, и это значит, что зима на пороге. И сегодня это случилось.

Ужасно неприятно носить колготки на себе, особенно если сверху джинсы. Я обошел дом три раза, пока приспособился к этому, и только потом позвонил в дверь к Лене.

— Ты уже в колготках? — спросил я.

Конечно, нет. Лена подождет с этим, пока не ляжет снег.

Погуляв недолго, мы обнаружили, что Лене переходить на колготки совсем скоро. На лужах уже был лед. А верхушки самых высоких гор вокруг фьорда Бог посыпал сахарной пудрой.

— Я люблю, когда снег, — сказал я Лене.

— Ничего, — безучастно кивнула она.

Она была не в настроении и сегодня тоже. Я не понимал, в чем дело, — обычно Лена с ума сходит по снегу. Но я не стал лезть ей в душу. Толку бы все равно не было никакого.

После обеда мы с папой поехали к бабе-тете. Она совсем разлюбила снег, сказала она нам, потому что она старенькая и не может его чистить. Мне кажется, я бы любил зиму гораздо больше, если бы я не мог чистить снег. Пусть себе лежит, пока не растает сам по себе. Или пока папа его не почистит.

Баба-тетя рассказывала истории, а мы с папой ели вафли. Они были даже вкуснее обычного из-за того, что на улице так противно. Я залез с ногами на диван и прижался к бабе-тете; мне было так хорошо, что даже больно. У бабы-тети самое большое и горячее





сердце, какое я только знаю. У нее вообще всего один недостаток — она вяжет на спицах. А теперь дело шло к Рождеству.

Когда баба-тетя отлучилась на кухню, чтобы принести еще вафель, я заглянул в корзину за диваном. Так и есть — горы чего-то вязаного. Она всегда дарит нам на Рождество вязаные вещи. Странно, такой умный человек, а не понимает, какое это наказание — ходить в вязаном свитере. Во-первых, он кусается, во-вторых, в такой глупой одежде давно никто не ходит. Мне гораздо больше нравятся подарки из магазина игрушек, но баба-тетя этих новшеств не понимает, хотя я пытался их ей растолковать тысячу раз.

Перед тем как нам ехать назад, я зашел в спальню посмотреть на картину про Иисуса над кроватью. Баба-тетя пришла следом, и я рассказал ей, как Лена играла в Тиндене в Иисуса и сверзилась вниз. Рассказывал — и вспомнил, как я ужасно испугался.

— Я все время очень боюсь потерять Лену, — сказал я. — А ей, по-моему, потерять меня ничуть не страшно.

— Наверно, Лена знает, что ей нечего бояться тебя потерять, — сказала баба-тетя. — Ты очень верный и надежный парень, голубчик мой Трилле.

Я примерил ее слова к себе, покрутил их так и эдак и почувствовал, что да — я верный и надежный парень.

— Баба-тетя, а это правда, что ты никогда ни чего не боишься?

Баба-тетя положила руку мне на затылок и тихонько похлопала меня по голове.

Изредка мне бывает немножечко страшно, но тогда я смотрю на эту картину и вижу, что Иисус стережет меня. Знаешь, голубчик мой Трилле, бояться не обязательно. Это никому не помогает.

— Хорошая картина, — сказал я и пообещал приехать, когда ляжет снег. Я помогу чистить снег, хотя это и скучно.

Баба-тетя поцеловала меня своим теплым, мягким, морщинистым поцелуем и обещала напечь мне гору вафель, даже если я не захочу чистить снег.

В воскресенье пошел снег.

И умерла баба-тетя.

Мне рассказала это мама, когда разбудила меня утром. Она сперва сказала, что идет снег, а потом — что баба-тетя умерла. Зря она перепутала порядок. Лучше бы она сначала сказала, что бабы-тети больше нет, а потом ободрила бы меня снегопадом. Что-то внутри меня разбилось. Я много минут лежал, уткнувшись в подушку, а мама гладила меня по волосам.



Это был странный день. Плакали даже дед и папа. Это было хуже всего. Весь мир изменился, потому что в нем не было больше бабы-тети. А за окном шел снег.

В конце концов я надел свой зимний комбинезон и пошел к хлеву. Там я лег. Мысли роились вокруг, как снежинки, и ни в чем не было порядка. Вчера баба-тетя была такая же живая, как я, а сегодня совсем мертвая. А если я тоже умру? Это случается и с детьми тоже. Троюродный Ленин брат погиб в автокатастрофе. Ему было всего десять лет. Смерть почти как снег: никогда не знаешь, когда он пойдет, хотя чаще всего это случается зимой.

Откуда-то появилась Лена. В своем зеленом комбинезоне.

— Я надела колготки. А ты для чего здесь лежишь? Ты похож на селедку.

— Баба-тетя умерла.

— О-о...

Лена села в снег и замолкла.

— Это антракт сердца? — спросила она погоду.

— Инфаркт, — ответил я.

— Фуф, — сказала Лена. — И сегодня, когда снег и вообще.

Иногда трудно понять, как так, что человек умер, объяснила вечером мама. У нее под бочком было тепло и безопасно. Она говорила правду. Я ничего не понимал. Странно никогда больше не увидеть бабы-тети.

— Ты можешь увидеть ее еще один раз, если захочешь, — сказала мама.

Я еще никогда не видел мертвого человека. Но во вторник я увидел мертвую бабу-тетю. Я очень боялся. Лена сказала, что у всех мертвецов синие лица, особенно если они умерли от инфаркта. Мина с Магнусом тоже, по-моему, боялись. Одна Крёлле хохотала у папы на руках.

Но оказалось не страшно. Баба-тетя не была синей. Она выглядела просто спящей. Мне показалось, что она сейчас откроет глаза, я даже подумал: не было ли все это умирание ошибкой? Я долго стоял и смотрел на ее веки. Они не шевелились. А вот бы она подняла их, посмотрела на меня и сказала: «Голубчик мой Трилле, какой ты красавец!» Я принарядился, хотя баба-тетя и не могла теперь меня видеть.

Уходя, я дотронулся до ее руки. Она была холодная. Почти как снег. Совершенно неживая.



В четверг были похороны, но на похоронах я уже несколько раз бывал. И Лену все-таки взяли. Она ведь тоже знала бабу-тетю. На похоронах она скучала, по-моему. А я не смог заплакать.

— Теперь баба-тетя на небе, — сказала мама, когда мы приехали домой.

В это плохо верилось, потому что гроб опустили в могилу на кладбище.

— Дед, а правда, что баба-тетя на небе? — спросил я позже.

Дед сидел в кресле-качалке в своем парадном костюме и смотрел перед собой.

— Это ясно как день, дружище Трилле! Теперь у ангелов отличная компания. А мы тут...

И больше он ничего не сказал.

В Щепки-Матильды загоревали. Все начало декабря было тихим, странным, полным букетов цветов. Мы оплакивали бабу-тетю. В конце концов Лена шваркнула нашей входной дверью и сказала, чтобы я немедленно, черт возьми, выходил играть в снежки. У меня ведь, кажется, нет сотрясения мозга?

Она парилась в своем зеленом комбинезоне и была злее некуда.

И мы долго играли в снежки, я и Лена. Это было хорошо. Потом я хотел зайти к Лене, потому что давно у нее не бывал.

— Тебе нельзя, — жестко сказала Лена.

Я ужасно удивился, но у моей соседки было такое решительное лицо, что я не стал больше спрашивать. Может, у нее там огромный подарок на Рождество, и это тайна?

А потом было Рождество, и в этом году тоже, но все было не так. Потому что баба-тетя не приехала в гости, и никто не сидел на ее месте за столом, никто не складывал аккуратно упаковочную бумагу со словами, что грех такую красоту выкидывать, никто не пел дрожащим старческим голосом, когда мы водили хоровод вокруг елки, и не она, а мама собрала нас у вертепа, чтобы прочесть рождественские евангелия. И я не получил в подарок свитера. Ну надо, чтобы человек огорчился из-за этого?!

Поздно вечером пришла Лена поздравить всех с Рождеством. Мы поднялись к окну канатной дороги. Я заметил, что шторы в Лениной комнате наглухо задернуты. Чего ж такого мне нельзя видеть? Я получил от нее в подарок совершенно обычные гетры, так что дело не в этом. Последний раз я был у них почти две недели назад.

— Небеса, они над звездами? — спросила Лена раньше, чем я успел задать ей свой вопрос.



Я посмотрел на небо, кивнул и сказал, что думаю, да. И теперь где-то там гуляет баба-тетя вместе с ангелами и Иисусом. Она наверняка подарила всем вязаные свитера на Рождество.

— Так что они теперь почесываются, особенно между крыльями, — сказал я. — Ну, ангелы.

Но Лена не готова была сочувствовать им.

— Зато едят вафли, — сказала она как отрезала.

Потом я вспомнил, что забыл Лене кое-что рассказать.

— Я получил наследство. Мне разрешили взять из дома бабы-тети одну вещь, которая будет только моя.

— Ты мог выбрать любую вещь? — уточнила Лена.

Я кивнул.

— И что ты выбрал? Диван?

— Я выбрал Иисуса. Он висит у меня над кроватью. И я могу не бояться.

Лена долго молчала. Я думал, она будет издеваться, что я не выбрал диван или что-нибудь такое, большое и настоящее, — но нет. Лена только уткнулась носом в стекло, и лицо у нее делало странные гримасы.

## САМЫЙ ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Сделать закладку на этом месте книги

Я думал, что раз уж умерла баба-тетя, то теперь пройдет много-много времени, прежде чем снова случится какое-нибудь горе. Но вышло иначе.

— Как ты, Трилле-бом? Держишься? — спросила мама в третий день Рождества. Она присела рядом со мной, когда я намазал себе хлеб паштетом и собрался поужинать.

— Хорошо, — сказал я и улыбнулся.

— Да уж, мальчик мой, одиноко тебе будет, когда Лена уедет, — сказала мама нежно.



Кусок хлеба умер у меня во рту.

— Кто уедет? — спросил я не дыша.

Мама смотрела на меня, как будто не верила своим глазам.

— Лена не сказала тебе, что они уезжают? Они уже несколько недель пакуют вещи!

У мамы сделался несчастный и испуганный вид. Я попытался проглотить кусок, но он лежал во рту и не двигался. Мама взяла мою руку и крепко ее сжала.

— Трилле, малыш мой, сыночек... Так ты не знал?

Я помотал головой. Мама еще крепче сжала мою руку и рассказала, хотя я не произнес ни звука, что мама Лены должна доучиться полгода в школе искусств, которую она бросила, когда Лена родилась. Недавно маме сообщили, что она может доучиться в этом году, поэтому они переезжают в город. Они будут жить неподалеку от Исака. И как знать, может, у Лены скоро появится хороший папа.

Я сидел с паштетом во рту, не в силах ни проглотить его, ни выплюнуть. Куда это Лена уезжает? Как она может уехать, даже не сказав мне? Я бы так никогда не сделал!

Я видел, что мама ужасно-ужасно огорчилась из-за меня. И было из-за чего!

Так вот почему Лена не впускала меня в дом! Я встал так резко, что опрокинулся стул, влез в башмаки Магнуса, проходя через наш дурацкий пролом в изгороди, отшвырнул ветку. Было так темно, что я споткнулся на Ленином крыльце, и паштет попал не в то горло. Откашливаясь и исходя злобой, я распахнул дверь, как обычно делает Лена, и ввалился в дом.

Все было заставлено картонными ящиками. Из-за одного из них удивленно выглянула мама Лены. Мы стояли и смотрели друг на друга. Вдруг оказалось, что мне нечего сказать. Станные коробки кругом. Ленин дом перестал быть похож сам на себя.

Лена сидела на кухне и не ела свой ужин. Я подошел к ней вплотную. Я собирался орать и топтать ногами, как она сама всегда делает. Я собирался крикнуть так, чтобы эхо разносило полупустую кухню, что так не поступают, нельзя уезжать, не сказав об этом! Я даже открыл рот, но не смог. Лена тоже была сама на себя не похожа.

— Ты уезжаешь? — шепнул я.



Лена отвернулась и посмотрела в окно. В нем отражался я. Мы смотрели друг на дружку темном окне, а потом Лена встала и проскользнула мимо меня. Зашла в свою комнату и тихо закрыла дверь.

Ленина мама выронила все, что держала в руках.

— А ты не знал, Трилле? — спросила она, и вид у нее стал еще более несчастный и испуганный, чем у моей мамы. У нее в волосах зацепился кусок скотча. Она перешагнула через коробку и обняла меня двумя руками.

— Все это ужасно! Но мы будем часто-часто приезжать в гости. Даю слово. И город совсем близко.

Остаток недели я и Лена сидели по своим домам.

— Ты не хочешь пойти поиграть с Леной, пока она не уехала? — много раз спрашивала мама.

Похоже, во всем мире один я понимаю Лену. Конечно, мы не могли теперь играть.

В Новый год у нас дома устроили прощальную вечеринку, наготовили кучу вкусной еды, пускали ракеты. Исак приехал тоже. Я не мог говорить ни с ним, ни с Леной. Она, кстати говоря, тоже ни с кем не разговаривала. Весь вечер она сидела и смотрела сердито — рот был как черта. Он округлялся только, когда дед ставил пальцы ей на щеки и нажимал, чтобы всунуть ей в рот конфету.

>

Когда пришла грузовая машина, я встал у окна канатной дороги и смотрел, как грузчики, Ленина мама и Исак выносят из белого домика коробки. В последний момент вышла Лена. Я думал, им придется тащить ее, но она вышла сама и села назад в машину Исака. Я понял, что мне надо спуститься вниз, но сперва я зашел к себе и снял со стены Иисуса.

Лена не посмотрела на меня. Между нами было толстое стекло машины. Я постучал и даже удивился, когда она опустила стекло. Узкой щели как раз хватило для того, чтобы я просунул в нее Иисуса. И чтобы я сумел сказать в нее «пока». Но, видно, она была недостаточно широка, чтобы Лена ответила.

— Пока, — прошептал я еще раз, но Лена лишь крепко потянула на себя мою наследную картину и еще сильнее отвернулась от окна.

И они уехали.





В тот вечер мне было так грустно, что я вообще не знал, как жить дальше. О том, чтобы заснуть, и речи не было. Папа понял это, потому что поздно вечером он поднялся ко мне. С ним была гитара.

Я ничего не сказал. Присевший рядом папа тоже молчал. Он спел «Трилле-тилле-бом», как в детстве. Это лично моя песня, папа написал ее специально для меня. Спев ее, папа сказал, что сочинил новую песню специально для меня, эта песня дня называлась «Грустит папа, грустит сын».

— Хочешь послушать, Трилле?

Я кивнул едва заметно.

И пока зимний ветер задувал на улице, а в доме все спали и видели сны, папа спел мне «Грустит папа, грустит сын». Мне было почти не видно его в темноте. Я только слышал.

Внезапно я понял, для чего мне папа.

Когда он закончил, я разрыдался. Я рыдал до икоты. Я плакал о том, что у Лены нет папы, и что баба-тетя умерла, и что мой лучший друг уехал, не сказав даже «прощай».

— Я никогда больше не вылезу из кровати!

Ничего страшного, он будет носить мне еду прямо в постель, пообещал папа, а я могу спокойно лежать здесь до конфирмации. Я зарыдал еще пуще. Получалась какая-то кошмарная жизнь.

— Я больше никогда, никогда не буду радоваться? — спросил я.

— Конечно, будешь, Трилле-бом, — сказал папа и взял меня на руки, как будто бы я малыш.

Так я и заснул в тот вечер у него на руках, надеясь никогда, никогда больше не проснуться.

ДЕД И Я

Сделать закладку на этом месте книги

Я все-таки вылез из кровати на другой день.



— Чего я буду лежать? — сказал я деду, и он от всего сердца поддержал меня.

— Да, дружище, это тебе не поможет.

Но я перестал радоваться, хотя через пару дней, может, это уже не было заметно. Я ходил, бродил, я старался улыбаться всем, кто был со мной ласков (а ласково держались со мной все), но в душе я оставался очень несчастным. Я вдруг останавливался посреди какого-то дела и не мог понять, как может все так мгновенно измениться. Совсем недавно Щепки-Матильды была полна вафель бабы-тети и криков Лены, и внезапно все самое в жизни дорогое отнялось у меня. Мне не с кем стало ходить в школу, не с кем играть, кроме Крёлле, не с кем сидеть в окне канатной дороги. Где-то внутри меня был большой щемящий комок грусти, и он болел все время. Больше всего — из-за Лены.

Без нее все в жизни изменилось. По деревьям не хотелось лазить. Ноги не бежали и не шли. Лена, как выяснилось, заведовала и едой тоже, потому что вдруг все потеряло всякий вкус. Даже бутерброд с паштетом, даже мороженое — все казалось безвкусным. Я стал подумывать совсем бросить есть. Пожаловался деду, но он посоветовал, наоборот, воспользоваться моментом и начать кушать вареную капусту и рыбий жир, раз уж мне все равно.

— Не проворонь свой шанс, парень!

Дед был самым лучшим, что осталось у меня в жизни. Он все понимал и не лез в душу. И он тоже грустил и тосковал. Как все на хуторе. Нам было плохо без бабы-тети, и без Лены, и без ее мамы. Но мы с дедом скучали сильнее всех. Проснувшись, мы начинали горевать — и горевали весь день, пока не укладывались спать.

Прошла целая неделя, и я даже прожил без Лены первую пятницу, и вот мы с дедом сидим за столиком в его небольшой кухне и слушаем ветер. Утром я сходил в школу, туда и обратно я шел один. Вернулся я совершенно синий от холода и слез. Кроме деда, дома никого не было, и он сделал мне горячий кофе. Он налил мне полчашки и положил десять сахарков. Дед — это просто чудо. Десять сахарков! Я рассказал ему, как прошел день. Мальчишки говорят, что в классе без Лены стало скучно. Теперь у нас класс какой-то тихий и примороженный, совсем не такой образцовый, каким он должен был бы стать без девчонок, по представлениям Кая-Томми. Я замолчал и машинально ковырял сахар. Мысль о том, что Лена никогда больше не будет учиться в моем классе, была такая горькая, что даже заболел живот.

— Дед, я так ужасно скучаю, — сказал я под конец и снова заплакал.

Тогда дед посмотрел на меня серьезно и сказал, что скучать по кому-то — самое прекрасное из всех грустных чувств.

— Пойми, дружище Трилле, если кому-то грустно оттого, что он скучает без кого-то, значит, он этого кого-то любит. А любовь к кому-то — это самое-самое прекрасное на свете чувство. Те, без кого нам плохо, у нас вот тут! — и он с силой стукнул себя в грудь.



— Ох, — вздохнул я и вытер глаза рукавом. — Дед, но ведь ты не можешь играть с тем, кто у тебя здесь, — и я тоже ударил себя в грудь и вздохнул.

Дед тяжело вздохнул и все понял.

И мы замолчали, дед и я. Ветер дул за стенами дома с шумом и воем. У меня не было никакого желания идти кататься на санках самому с собой.

Когда я вернулся, мама уже приготовила на обед мое самое любимое блюдо. В третий раз за эту неделю. Наверно, стоило ей сказать, что мне теперь все невкусно, но я смолчал.

Когда я ложился спать, мои улыбательные мускулы болели от напряжения. Они перетрудились и устали.

— Боженька, верни мне обратно вкус еды, — попросил я.

Щемящий комок грусти у меня в животе не давал мне спать. Взамен я лежал и слушал, какая на улице непогода. Вдруг что-то ударило в стекло.

— Спасите! — в ужасе вскрикнул я и сел.

В стекло снова ударило. Эх, если бы мой Иисус висел сейчас у меня над кроватью! Я уже спустил ноги бежать к маме-папе, как кто-то крикнул шепотом:

— Открой окно, тормоз!

Я вскочил и в секунду очутился у окна. Под ним стояла Лена. Зимой посреди ночи.

— Я уж думала, придется разбить окно, что бы ты наконец услышал, — сердито сказала она, когда я распахнул створки.

Немного спустя мы уже сидели на кухне и пили теплую воду. Это самое тихое, до чего мы додумались. Лена сидела в шапке. Она бежала много часов подряд и замерзла так ужасно, что у нее стучали зубы.

— Я буду жить в сарае.

— В сарае? В нашем сарае?

Лена кивнула. И всхлипнула. Я видел, как она борется изо всех сил, чтобы сделать нормальное лицо. Но ничего не получилось — она долго боролась с собой, и все-таки под конец брызнули слезы. Лена Лид, которая никогда не плачет!



— Лена, — сказал я и легонько коснулся ее щеки. Я не знал, что мне можно, — вдруг она начнет драться или еще хуже, если я вздумаю утешать ее всерьез.

— У тебя есть спальник или нет? — спросила она грубо.

— Есть.

Той ночью я засыпал единственным посвященным в тайну того, что мой лучший друг вернулся в Щепки-Матильды. Лена спала сейчас в сарае в спальнике, закутавшись еще в одеяло и зарывшись в сено. И хотя боязно лежать в темноте в сарае совсем одной, она, конечно, спала мертвецким сном, потому что рядом с ней лежал мой Иисус.

Никогда еще я не бывал замешан в такие тайны. И никогда еще я не испытывал такого счастья.

#### ПРЫЖОК НА САНКАХ С ЛЕТАНИЕМ КУРИЦЫ И ДВОЙНЫМ СОТРЯСЕНИЕМ МОЗГОВ

Сделать закладку на этом месте книги

На следующее утро я не сразу вспомнил, что было ночью. Просто было чувство счастья. А когда вспомнил, то решил, что мне это приснилось. Я вскочил с постели. Ветер стих, и фьорд лежал голубой и гладкий как стекло. От снега, солнца и воды кругом было светлым-светло, я никогда еще не видел такой красоты.

Когда я спустился вниз, мама разговаривала по телефону. Меня никто не заметил, и я вприпрыжку бросился в сарай. Стоял жуткий холод, воздух звенел, а на сердце было так легко, что я думаю, я бы взлетел, если б только захотел.

В такую хорошую погоду свет как будто прошивает сарай изнутри полосками. И чувствуешь себя почти что в церкви. Я пробрался в самый дальний угол, где спряталась Лена. Подальше от двери, под прикрытием большого стога сена. Спальник был на месте. И картина с Иисусом. А Лены не было.

— Лена, — отчаянно зашептал я.

Неужели это мне все же приснилось?

— Я здесь, — вдруг сказала Лена.

Я задрал голову. На балке под крышей сидела Лена. А потом взяла и прыгнула вниз.

Она падала, падала, падала, а потом приземлилась в сено рядом со мной целая и невредимая. Я улыбнулся. И Лена улыбнулась.



— Мне оттуда прыгнуть нипочем! — гордо сказала она. — В этом году я столько раз падала с огромной высоты, что уже привыкла. Господи, какая же я голодная!

Пока я шел из сарая назад домой, я мечтал научиться готовить яичницу-болтунью. Это отличное блюдо, чтобы кормить беглецов. Дед вернулся из хлева и посмотрел на меня удивленно:

— Опа, довольный жизнью мальчик!

— Такая отличная погода, решил попробовать поулыбаться, — ответил я, закашлявшись. Об этой тайне нельзя знать даже деду, вот как!

Мама кончила говорить по телефону, они с папой сидели за столом. Пахло кофе, утреннее солнце заливало кухню.

— Трилле, иди-ка сюда, — позвала мама. — Присядь, пожалуйста.

Мне не хотелось, но я послушался. Родители смотрели на меня серьезно.

— Я только что говорила с мамой Лены. Утром ее не оказалось в кровати.

Я крутил тарелку на месте.

— Ты не знаешь, где она? — спросил папа.

— Нет, — ответил я и стал намазывать бутерброд.

Надолго стало тихо.

— Трилле, — наконец сказала мама. — Ленина мама в панике. Ее везде ищут. В том числе полиция. Ты правда не знаешь, где она?

— Нет!!! — заорал я и стукнул кулаками по столу. Я был так зол, что готов был разнести весь дом. Пусть только сунутся! Я никому не позволю снова увезти Лену в город! Вся полиция в полном составе может явиться в Щепки-Матильды, но Лена никуда отсюда не уедет!

Громко топая, я в ярости вышел из кухни. Кто только придумал этих взрослых! Что они вообще себе позволяют — таскают за собой детей с места на место, когда детям этого совершенно не хочется!

И все-таки я понял, что они взялись искать ее всерьез. Ну почему все должно быть так сложно?! Я мысленно обошел всю Щепки-Матильды, но не нашел ни одного надежного места, где можно спрятаться.



— Хижина, — прошептал я наконец себе под нос.

У нас же есть хижина.

Тайком от всех я стал складывать в пакет все необходимое. Спички, хлеб, масло, теплые носки, веревка, лопата, ключи от хижины. Я справился быстро. Потом достал свои санки из-под лестницы, где их место, положил на них пакет и закрыл сверху одеялом. Теперь осталось только незаметно спрятать туда же Лену.

— Куда это ты собрался, Трилле? — спросил папа, когда я стал надевать комбинезон.

— Хочу повеселить себя и покататься на санках! — яростно ответил я. И пошел в сарай. Санки я оставил под его дверью.

Лена прихватила с собой одну из несущек.

— Зачем она тебе? — спросил я и заметил, что это несущка номер семь.

Лена сказала, что она не собирается умереть от голода, несмотря на то, что я принес так мало еды. А курицы, по крайней мере время от времени, могут снести яичко. Я пожал плечами и рассказал ей новости. Лена отвернулась и некоторое время смотрела в другую сторону.

— Хорошо, — сказала она наконец. — Я переберусь в хижину.

Она говорила толстым, не своим голосом.

— Трилле, но они увидят нас, когда мы будем подниматься в гору, — сказала она следом.

Я кивнул. Вверх до самого дома Юна-с-горы лишь голая гора.

— Так что придется тебе нас тащить, — сказала Лена и проворно юркнула вместе с несущкой номер семь под одеяло, к хлебу и ключам и прочему.

— И не забывай, пожалуйста, делать вид, что везешь легонькие пустые санки, иначе они что-нибудь заподозрят! — распорядился мой лучший друг.

Конечно, заподозрят, думал я. Уже наверняка заподозрили. Дед-то уж точно. Он смотрел из-под балкона, как я тяну санки от сарая. Я сжал зубы, намотал еще один круг веревки на руку и двинулся в путь.

Как я уже говорил, Лена совсем еще небольшая. Но странное дело. Я тянул изо всех сил, я обливался потом, старательно делая вид, что везу за собой самые легкие в мире санки. Но они были отнюдь не легкие. Они были одни из самых тяжелых в мире.





— Но-о! — время от времени вскрикивала Лена из-под одеяла.

Просто счастье, что был такой наст! Я никогда не видел такого: ни от меня, ни от саней на насте не оставалось и следа.

Мы еще никогда не поднимались с санками так высоко, до самого Юна-с-горы. Это всегда казалось нам не по силам. Во всяком случае, не по силам Лене. Она любит только спуск с горы и считает позором, что мы до сих пор не построили в Щепки-Матильды санный подъемник. К тому же и на полдороге к дому Юна-с-горы уже достаточно высоко для спуска на санках. Если б я не вез своего лучшего друга, я бы никогда не сумел забраться на такую кручу. Но Лена вернулась, и я бы не пережил, если бы лишился ее снова.

Время от времени я оборачивался посмотреть, нет ли за нами погони. Дед стоял у сарая. Он становился все меньше и меньше по мере того, как мы поднимались все выше и выше, и под конец превратился в точку. Когда я наконец-то притулился к стене дома в Юновых Холмах, его уже и точкой было трудно назвать.

— Лена, посмотри-ка, — прохрипел я.

— Вижу, — ответила Лена, высовываясь из-под одеяла.

Внутри сердито заклохотала несущка номер семь.

Мы с Леной смотрели с огромной высоты на Щепки-Матильды, наше королевство. Солнце село за ближайшую гору и окрасило небо над всем фьордом в розовый цвет. На воде не было ни одной морщинки. Из трубы нашего дома шел дым. И хотя было еще довольно рано, одна звездочка исхитрилась, как-то проклюнулась и уже блестела на небе.

— О чем ты думаешь, Лена?

Я был совершенно без сил, да еще переполнен красотой вокруг и важными мыслями обо всем этом.

— Я думаю, — пробурчала Лена, — что это позор.

— Что позор?

— Что мы стоим на такой верхотуре, на самой макушке Холмов, куда мы никогда еще не забирались, и у нас с собой санки и курица, и сегодня такой наст, какого вообще не бывает. Но мы не можем скатиться с горки!

Последние слова она прокричала. Я почесал в затылке.

— Лена, но разве ты не хотела жить в хижине?



У меня от усталости опять дрожали колени. Лена лежала тихо-тихо. И весь мир кругом замер в тишине.

— Я хотела жить в Щепки-Матильды! — упрямо сказала Лена под одеялом. — И я хочу прокатиться на санках! — сказала дальше Лена и решительно села, откинув одеяло.

И прежде чем я успел подумать, она развернула санки в обратную сторону и уселась на них, разметав по снегу вокруг себя хлеб и масло. Она подвинулась вперед, на самый краешек, давая место мне.

Мы с Леной этой зимой ни одного разочка не катались вместе на санках. Мы слишком сильно грустили.

— Эй, садись ты тоже! Что ж ты, тащил санки всю дорогу, а теперь останешься тут стоять? Да и курицу кто-нибудь должен держать!

Лена сузила глаза. Я посмотрел вниз под гору. Наст блестел, как раскатанный лед. Какой разумный человек откажется прокатиться по такой ледяной горе? Я крепко обхватил Лену за пояс одной рукой, а другой прижал к себе несущку номер семь.

— Йо-хо-хо! — крикнули мы хором.

— Вы всегда были ненормальными, — сказал Магнус через несколько дней, когда мы уже могли вставать и нам разрешили позавтракать на кухне вместе со всеми.

— И как раз все очень удачно, — упрямо пробурчала Лена. — Трилле давно пора было попробовать на себе сотрясение мозга.

Сама она сотрясала мозги столько раз, что для нее это примерно как зубы почистить, утверждала Лена.

Я улыбнулся. Я был переполнен радостью от макушки до кончика мизинца. Подумаешь, какие-то сотрясения мозга, чепуха, да и только.

— А расскажите, как все было, — попросила Мина с любопытством. Я пожал плечами. Ни я, ни Лена не помнили ничего из того спуска на санках.

Зато дед помнил. Он стоял у сарая и видел все.

— Это было зрелище, скажу я тебе, Мина. Они неслись на такой крейсерской скорости, что я сроду не видел ничего подобного!

Лена грустно вздохнула.

— У, черт, ну почему я ничего не помню! — сказала она со злостью.



И деду пришлось в десятый, наверно, раз рассказывать, как на его глазах мы с Леной и курицей стартовали от дома Юна-с-горы, и он, дед, подумал: вот же черти полосатые, потому что он видел, что на таком насте мы разгоняемся все быстрее и быстрее. Он слышал, что курица кудахтала, а мы кричали «йо-хо-хо!». Но примерно на середине горы курица смолкла, а мы заорали «а-а-а!» — и не без причины. Хотя мы и не строили этой зимой трамплина, но разогнались настолько, что на сугробе у дороги подпрыгнули и перелетели через асфальт.

— Вы летели очень красиво, и соседская кнопка приземлилась головой в снеговика Крёлле, Трилле врезался мордахой в живую изгородь, курица взлетела в воздух, а санки разбились о стену дома! — закончил свой рассказ дед и хлопнул в ладоши, показывая, с каким звуком они разбились.

— А потом прибежала мама, — улыбнулась Лена.

— Да, кнопка, потом прибежала твоя мама, и все пошло хорошо.

Они продолжали разговаривать, а я ушел в себя, чтобы просто радоваться и радоваться. Теперь Лена мне не соседка. И долго ею не будет. Потому что она переехала к нам жить.

Поразительно, чего только взрослые не могут, если захотят! Я спросил маму, не фея ли она?

— И я, и Ленина мама — обе мы немножко феи. И сейчас мы наколдовали, что Лена поживет у нас до лета, пока ее мама учится.

Крибле-крабле-бумс! — засмеялась Лена Лид.

#### ЮН-С-ГОРЫ И ЮНОВА КЛЯЧА

Сделать закладку на этом месте книги

Жить с Леной в одном доме оказалось даже лучше, чем жить с ней по соседству, хоть она и не отдала мне моего Иисуса, как я мечтал. Картина висела у нее в комнате, над кроватью, где она теперь спала.

— Ты еще получишь картину назад, Трилле-бом, попозже, — сказала мама, когда я пожаловался ей. — Видно, Лене она сейчас очень нужна.

— Но она же вернулась в Щепки-Матильды, и у нее все отлично!

— заспорил я.

Но мама сказала, что хотя Лена не жалуется, она, конечно же, скучает без своей мамы. Особенно по вечерам перед сном.

— Но она ничего об этом не говорит, — упирался я.



— Не говорит. А разве Лена вообще говорит о таких вещах? — спросила мама.

Я подумал и покачал головой. Нет, Лена вообще много чего не говорит вслух.

— Она ни разу не сказала, что я ее лучший друг, — поделился я с мамой. — Ты думаешь, она так все-таки думает?

Мама улыбнулась.

— Да, думаю, думает.

— Но я ведь не могу быть в этом уверен наверняка? — спросил я.

Нет, пока Лена этого не сказала, нельзя быть уверенным наверняка, согласилась мама.

Я продолжал думать, что Лене не с чего быть недовольной жизнью.

— А правда здорово, что я переехала к вам? — спрашивала она часто и широко улыбалась.

— Да уж, спасибо, кнопка, вернулась в коробку, — отвечал тогда дед. — Нам с Трилле было очень пусто в Щепки-Матильды, пока тебя не было. Всю ту неделю.

Теперь нам было так хорошо втроем с дедом проводить время по вечерам, что мы наперегонки неслись домой из школы. Однажды, только мы примчались и зашвырнули ранцы под балкон, дед спросил, не хотим ли мы снова сгонять на Холмы к Юну-с-горы. Снег уже таял, так что катиться придется не на санках, а на велосипеде.

Оказалось, что подниматься на велосипеде с мотором системы «крути педаль» так же утомительно, как тащить вверх санки с Леной. Дед выжимал из своего мопеда последнюю скорость и поддразнивал нас, пытавшихся за ним угнаться.

С того дня мы с Леной стали звать Юна-с-горы иначе: Юн-в-гору.

В молодости Юн-в-гору был моряком и в сражении потерял один глаз. С тех пор он ходит с черной пиратской повязкой.

— Я вижу только половину жизни, и отдельное спасибо Господу за это, — любит он повторять.

Из-за этой повязки многие дети Юна-в-гору боятся, но мы с Леной оба знаем, что он не страшный. Наоборот, в нем много хорошего, например, Юнова кляча — его лошадь. Летом она стоит на опушке леса и жует, а зимой стоит в конюшне и жует.



— Эта лошадь до того умная, что она ржет стихами, по-моему, — говорит про нее дед.

Когда мы наконец взобрались на Холмы, дед с Юном сели пить на крылечке кофе, а мы с Леной побежали в конюшню.

— Скучная какая-то эта кляча, — сказала Лена и наклонила голову набок.

— Она умная, — в полутьме ответил я.

— А ты откуда знаешь? Ты понимаешь ржание?

Ржать я не умел, а что кляча умная — знал. Но Лену разве так убедишь?

Мы долго торчали у Юновой клячи. Мы ее гладили и болтали с ней, Лена угостила ее конфетой. Я сказал себе, что это самая лучшая лошадь в мире.

— Она съела конфету, — рассказал я деду, когда мы вернулись к ним с Юном.

— Тогда это последняя конфета в ее жизни, — сказал дед, застегивая шлем и садясь на мопед.

— Почему последняя? — удивился я, но дед уже поехал и не услышал вопроса.

Когда мы доехали до дома и дед наконец остановился, я бросился к нему, схватил за руку и снова спросил:

— Почему конфета последняя?

Дед сначала юлил, но потом рассказал, что Юн-в-гору стал таким старым, что его забирают в дом престарелых, но Юнову клячу никто не хочет брать, потому что она тоже очень старая.

— Становиться старым вообще вещь поганая, — сердито буркнул дед и хлопнул своей дверью у меня перед носом.

— И что же с Юновой клячей будет? — крикнул я в запертую дверь.

Дед не ответил. Он заперся у себя, сидел там и злился на то, что и лошади, и дедушки стареют. Зато мне ответила Лена. Громко и ясно.

— Нет домов для престарелых лошадей. Поэтому ее отправят на бойню.

Я вытаращился на Лену. А потом как заорю:

— Они не имеют права! — с такой силой, как Лена обычно кричит.



Я так и сказал маме. Я был весь зареванный и сказал ей, что они не имеют права отправлять на бойню таких умнейших лошадей, как Юно-ва кляча. И папе я тоже крикнул, что они не имеют права.

— Не имеют права, — серьезно откликнулась Крёлле.

— Трилле, милый, мы каждый год посылаем овец на бойню, и ты никогда так не расстраивался, — сказала мама и вытерла мне слезы.

— Юнова кляча не овца! — завопил я. — Нет, они ничего не понимают!

На следующий день я не мог думать ни о чем, кроме Юновой клячи, тихой смирной лошади, никому не сделавшей зла, но все равно обреченной на смерть. На математике я понял, что сейчас заплачу. Только этого не хватало! Я покосился на Лену. Она смотрела в окно. Как она сказала — нет домов для престарелых лошадей? Я встал так стремительно, что опрокинул стул.

— Эллисив, нам с Леной нужно немедленно уйти до конца уроков, — сказал я нервно.

Лена понятия не имела, что я затеял. Но без колебаний решительно сунула учебник математики в ранец и добавила с глубокой серьезностью на лице:

— Речь идет о жизни и смерти!

И пока Эллисив и остальные таращились на нас, от изумления открыв рты, мы с Леной выскочили из класса в обнимку с незастегнутыми ранцами.

— У тебя что-нибудь горит? — прохрипела Лена, когда мы добежали до леса у нашего дома.

— Мы откроем дом для престарелых лошадей! — крикнул я в азарте.

Лена остановилась на бегу. Не считая птичьих трелей и нашего сбившегося дыхания, в лесу было тихо. Я в тревоге посмотрел на Лену. Неужели ей не понравилась моя идея? Но тут раздался победный вопль:

— Трилле, вот здорово, что ты додумался до этого как раз на математике!!!

Дома был один только дед. Это нам повезло. Особенно потому, что в этом деле мы могли рассчитывать на одного только деда. Я присел рядом с ним под балконом.

— Юнова кляча может жить у нас в старой конюшне. Представь, как обрадуется Юн, что ему не нужно посылать ее на бойню! Я буду косить траву, сушить и ворошить сено, и убирать за ней, и кормить, а Лена мне поможет. Ведь правда, Лена?





Она неопределенно дернула плечом. Конечно, она всегда поможет немного в уходе за старой клячей. Я понял, что Лена радовалась из-за математики.

— Дед, и ты ведь тоже можешь помочь мне иногда? — спросил я тонким голосом, не решаясь даже посмотреть на деда. Дед растирал колено загорелыми старческими руками и задумчиво смотрел на море.

— Ты, например, можешь быть взрослым, у которого мы спросили разрешения, — сказал я еще более тонким голосом.

Как же трудно просить о таком! Я чувствовал, что слезы польются вот-вот, и старался сдержать их. Дед посмотрел на меня долгим взглядом.

— А почему нет? Неужели дружище Трилле и соседская кнопка не справятся с одной старой лошадей? — сказал он в конце концов.

В этот раз мы просто должны ехать в ящике его мопеда, сказал дед. По двум причинам. Во-первых, нам надо доехать до Холмов раньше, чем перевозчик с бойни увезет Юнову клячу. Во-вторых, нам надо доехать до Холмов раньше, чем дед успеет еще раз подумать.

— Потому что я, похоже, выжил из ума!

Мы резко затормозили во дворе перед домом Юна-в-гору. Там уже стояла одна машина. Это была машина Веры Юхансен. Она племянница Юна. Теперь она энергично помогала ему сложить вещи и убрать все, чтобы ехать в дом престарелых. Сам Юн-в-гору сидел на стуле и имел потерянный вид. Дед сунул руки в карманы комбинезона и молча поприветствовал своего лучшего друга.

— Дружище Трилле хотел спросить тебя кое о чем, — сказал дед и вытолкнул меня вперед.

— Я вот тут подумал... Нельзя ли мне взять твою лошадь, мы с Леной и дедом собираемся открыть дом для престарелых лошадей...

Стало звеняще тихо, я едва осмелился взглянуть на Юна. Он быстро протер здоровый глаз.

— Храни тебя Бог, мой мальчик, — сказал он, — но лошадка моя уплыла на пароме двадцать минут назад.

Стоя перед Юном-в-гору и глядя в его единственный печальный глаз, я думал, что больше никогда, никогда не смогу радоваться. Это было точно как в тот день, когда от меня уехала Лена. Та самая Лена, которая теперь сердито дернула меня за куртку:



— Э-эй, так мы открываем лошадиный приют или что? Прикончить лошадь — это, наверно, не минутное дело, да?

И она бросилась к мопеду. Нам с дедом осталось только ее догонять.

Пока дед заводил мопед, на крыльцо вышел Юн-в-гору. Он махал нам, и на лице его отражалось много разных чувств.

— Давай, дед, — крикнул я. — Гони!

И дед погнал. Я наконец-то понял, почему мама не разрешает ему возить нас в ящике мопеда. Когда он запрыгал по кочкам под горку, даже у Лены стало испуганное выражение лица. Мы ехали так быстро и нас так ужасно трясло, что я три раза прикусил язык. И все-таки мы опоздали.

— Давай же! Паром отошел! — завопил я.

— Сейчас же поворачивай обратно, дурацкий паром! — подхватила Лена.

Мы выпрыгнули из ящика и стали отчаянно махать руками.

Капитан заметил нас и увидел, наверно, что дед тоже немного махал, потому что он вернул паром к причалу. Паром пришвартовался со стуком, и матрос Биргер впустил нас на борт. У папы был перерыв на обед, так что его нигде не было видно.

— Если можно, не говори пока папе, что мы на борту, — попросил я матроса Биргера.

— Почему? — спросил он.

— Это немножко секрет, — ответила Лена. — У него сегодня день рождения.

Матрос Биргер посмотрел на деда, тот кивнул авторитетно.

— Да, вы уж поласковой сегодня с моим мальчиком, ему исполняется сорок четыре, — и дед так хлопнул Биргера по спине, что билетная сумка звякнула всеми замками.

Я смотрел на деда и Лену в ужасе. У папы не было сегодня дня рождения!

— Дружище Трилле, знаешь, приврать иногда даже полезно, — сказал дед. — И папе только лучше: возможно, Биргер спроворит ему и торт, и подарок.

По-моему, никогда еще дорога до города не занимала столько времени. Я торчал у борта, но мы не приближались ни на сантиметр, по-моему. Зато Юнова кляча с каждой секундой все ближе подъезжала к воротам бойни.



— Мы никогда не доедем, — сказал я. — Вот так бы прыгнул за борт и поплыл.

— Пока ты будешь болтаться посреди фьорда без жилета, мы точно опоздаем, — фыркнула Лена.

Дед смотрел на часы.

Когда мы наконец причалили в городе, дед еще удвоил скорость против прежнего, но нас с Леной он закрыл одеялом, чтобы никто нас не увидел, и прежде всего полиция. Я лежал и думал, сколько всего строго-настрого запрещенного мы сегодня сделали: прогуляли уроки, наврали матросу Биргеру, без разрешения организовали дом для престарелых лошадей и носимся в ящике мопеда и по Холмам, и по городу. Ужас! Но тут у меня перед глазами встала Юнова кляча. Боженька, милый, сделай так, чтоб мы успели!

— Ждите меня здесь, — строго сказал дед.

Он ушел внутрь в своем комбинезоне и деревянных башмаках, а мы с Леной остались посреди огромной парковки. Так вот куда мы посылаем овец по осени, тяжело думал я, и у меня неприятно сводило живот. Туда, где мы стояли, не доносилось ни звука.

— Наверно, ее уже превратили в конскую колбасу, — мрачно сказала Лена. — Сейчас перец добавляют.

— Помолчи! — рассердился я.

— Ведь Юнова кляча приехала сюда на целый час раньше нас. Наверняка ее уже нет в живых. И чего дед там торчит? Боится выйти и сказать мне это?

Я старался не плакать, но слезы текли все равно. Лена делала вид, что не замечает этого, и ковыряла ботинком асфальт.

Но в конце концов дверь открылась, и вышел дед — без Юновой клячи.

— Нет! — закричал я.

— Успокойся, дружище Трилле, я не мог вывести ее через дирекцию, пойдем заберем ее с другого входа.

Так что мы все-таки успели, хотя и в последнюю секунду, признался потом дед. И вот я внезапно обзавелся собственной лошастью и стою с ней посреди огромной парковки. Господи, каким же счастливым можно иногда быть!

Мы прошли через весь город процессией в таком составе: впереди дед на мопеде, потом я с лошастью на веревке и замыкающей — Лена, громогласно извещавшая нас каждый раз, как Юнова кляча примерялась сделать свои дела. Но свершилось это только



на причале. Мы пристроились за черным «Мерседесом»: сначала Дед на мопеде, потом я с лошадью и наконец Лена.

— Она такую гору навалила — ни проехать, ни пройти! — восторженно закричала Лена.

Пассажиры смотрели на нас с недоумением, и я радовался, что у меня такая смиренная и разумная лошадь, которая тихо стоит в общей очереди, не привлекая к себе лишнего внимания.

Но без лишнего внимания все же не обошлось, потому что обеденный перерыв у папы как раз закончился. Он стоял у входа, когда паром причаливал. Увидев нас, он разинул рот так широко, что я разглядел зубы мудрости. Он был так потрясен, что забыл дать знак «Мерседесу» и другим машинам заезжать на борт. Но они поехали без его сигнала, и мы двинулись со всеми вместе, постепенно приближаясь к папе, который стоял посреди машинной палубы, а из кармана у него торчала бумажная именинная корона. Сначала мимо него прошуршал «Мерседес», потом чихающий мопед деда, потом мы с моей клячей тихо ступили на борт, причем я даже не поднял на папу глаз, и последней вошла Лена с неясной улыбкой. Она любит разные заварухи.

Чтобы собраться с мыслями, папа сначала взял деньги за проезд с «Мерседеса». Потом подошел к деду на мопеде. Папа был красного цвета и собирался, похоже, произнести небольшую речь. Но дед слез с мопеда, вытащил бумажник и сказал:

— Один пенсионер, два ребенка и одна лошадь, пожалуйста.

— И поздравляем с днем рождения! — добавила Лена.

В этот вечер папа сказал, что мы его доведем когда-нибудь, и тогда ему придется досрочно выходить на пенсию. И ничего страшного, успокоила его Лена, мы всегда примем его в наш дом престарелых. Хотя он прежде всего для лошадей, конечно.

## КАК ЛЕНА И Я ИГРАЛИ В ВОЙНУ С ФАШИСТАМИ

Сделать закладку на этом месте книги

Завести себе лошадь — это не просто взять и завести, сказала мама, хотя именно так я и сделал. И она, и папа сердились ужасно. Если бы не дед, думаю, пришлось бы нам эту Юнову клячу вернуть. А так обошлось, дед все устроил. И хотя родители не подавали виду, я заметил, вскоре они тоже стали думать, что в старой конюшне стоит очень хорошая и приятная лошадь.



Жизнь вошла в обычное русло. Приближался март, я привык к тому, что у меня есть лошадь. И что Лена на месте. В выходные она часто уезжала в город, к своей маме, а та приезжала то и дело к нам на ужин. А я почти каждый день думал о том, какое это счастье, что Лена не уехала. Как приятно, что можно больше не киснуть и не чувствовать себя одиноким.

И очень-очень долго все в Щепки-Матильды шло как положено. После той истории с Юно-вой клячей мы с Леной несколько недель вели себя как два ангела.

— Я что-то беспокоюсь, — сказал раз за обе дом папа. — Такая тишина и порядок в Щепки-Матильды — это аномалия.

Я не уверен, конечно, но думаю, что из-за этих его слов Лену, пока мы убирали со стола после обеда, посетила блестящая идея. Внезапно она застыла на месте, посмотрела на наше радио и сказала:

— Трилле, надо его закопать!

— Закопать радио?

— Ну да. Помнишь, как баба-тетя рассказывала? Мы закопаем его за сараем и будем играть, что сейчас война.

Очень приятно играть в то, о чем рассказывала баба-тетя. У себя на небе она наверняка сейчас радуется за нас. И в то же время это все такое совсем запрещенное, что даже щекотно по всему телу. Но это-то и здорово, сказала Лена. Мы на своей шкуре почувствуем, как жили люди во время войны, а это полезно знать.

Все население Щепки-Матильды, даже не Догадываясь об этом, враз превратилось в фашистов. Мы с Леной остались двумя единственными норвежцами и ходили крадучись, как два шпиона.

— Если нас поймают, упекут в Грини, — сказала Лена.

Мы выкопали яму рядом с курятником. Это было трудно, но в конце концов яма получилась большая и глубокая. Такая большая и глубокая, что мы решили собрать все имеющиеся в Щепки-Матильды радио.

Оказалось, что теперь в норвежских семьях гораздо больше радиоприемников, чем когда дед и баба-тетя были детьми. Мы нашли радио в душе, стереосистему в гостиной, транзистор Магнуса, СВ-проигрыватель Мины и старый громоздкий приемник деда.

— Ничего себе, — то и дело изумлялся я по ходу поисков.

— Да, многовато, конечно, — сказала Лена, — но глупо было выкопать такую огромную яму, а потом не заполнить ее.



Видно, война дается нам с Леной неплохо, потому что мы собрали все радио, оставшись незамеченными. Улов у нас был гигантский. Мы умудрились даже вытащить огромную стереосистему из гостиной.

— Ну что, будем закапывать? — спросила Лена, когда мы под самый конец сбросили туда же карманное радио Магнуса.

— А мы ничего не испортим? — спросил я.

Но Лена считала, что современная техника должна выдерживать такую малость, раз уж старые приемники столько выдерживали в войну, когда кругом была нищета и разруха. Мы все же положили сверху мешковину, засыпали и прикрыли дерном, а потом побежали дальше шпионить за фашистами.

Сначала мы из-за кухонной двери следили за мамой, которая искала свое радио. Потом спустились к деду — он стоял посреди комнаты и чесал голову.

— Трилле, я впал в маразм, — сообщил он. — Я помню, что до обеда мой радиоприемник стоял тут, а теперь его нет. Но кто мог передвинуть этого мастодонта, если не я сам?

Лену как ветром сдуло. Нашел я ее за сараем, она лежала на траве и корчилась от смеха.

Но потом фашисты начали разговаривать о своих пропажах. Мама поговорила с дедом, Дед с Миной, та с Магнусом, он с отцом. В конце концов все они собрались на кухне и стали обсуждать, куда могли запропасться все радио. Мы подслушивали, сидя на чердачной лестнице.

— Думаешь, они нас не заподозрят? — прошептала Лена.

— Боюсь, они с этого начнут, — честно ответил я.

И тогда мы решили бежать. Так они делали во время войны — сбегали в Швецию и становились беженцами. Ноги надо было уносить немедленно, потому что теперь фашисты повсюду нас разыскивали.

— Трилле, за твою голову обещана награда! — крикнул вдруг Магнус где-то неподалеку.

— Уводим Юнову клячу! — сказал я.

То, что нам с Леной удалось пробраться в старую конюшню и сесть верхом на коня так, что нас никто не увидел, — это чудо.





— Мне сбегать не впервой, — сказала Лена, когда мы уселись на спину лошади безо всякого седла. Я ухватился за гриву, Лена вцепилась в меня и воскликнула «но-о!».

Мы припустили по короткой дороге, по которой ездили на мопеде, когда на нас напали разбойники Бальтазара. Двигались мы не быстро, хотя Лена безостановочно понукала Юнову клячу. Но она ведь не скаковая лошадь. Она кляча вообще-то.

— У, черт, ну и дрянная лошаденка, — раздраженно ворчала Лена. — Нам нужно место, чтобы укрыться!

Поехали к Юну-в-гору, — предложил я. — Это недалеко. Заодно посмотрим, как он устроился.

Когда мы приехали, в доме престарелых стояла тишина. Лена окинула оценивающим взглядом большой дом и сказала, что это Швеция один в один. Она была однажды в Швеции, когда ей было два года.

— Привяжем клячу тут? — спросила Лена, указывая на табличку.

Обычно мы с Леной оказываемся в доме престарелых вместе с классом, чтобы показать концерт. Странно было очутиться тут вдвоем и без блок-флейт. Но мы нашли дорогу в общую комнату, там сидел Юн-в-гору и смотрел в окно своим одним глаз

ом. По-моему, он скучал по своим Холмам.

— Тук-тук! — сказала Лена.

Юн-в-гору обрадовался и удивился, увидев нас. Я как мог постарался растолковать ему все о радиоприемниках, фашистах и гестапо, и он все понял, но кроме него в комнате были и другие здешние постояльцы, и некоторые из них поняли все слишком хорошо. В частности, пожилая дама по имени Анна. Она подумала, что война еще не кончилась и что за нами с Леной гонятся настоящие фашисты.

И не успели мы с Леной глазом моргнуть, как уже стояли в ее платяном шкафу между вешалок с блузками и юбками. Анна задвинула дверцы стулом и села на него.

— Ни один фашист не откроет шкаф живым! — крикнула Анна.

Но и мы с Леной не могли выйти наружу, как оказалось. Я почувствовал, что вся наша война мне немного наскучила, но Лена в темноте хрюкала от удовольствия.

— В шкафу никого нет! — вдруг заполошно закричала Анна. Я навалился на дверцы всем телом, образовалась щелка, и я увидел папу, деда, Мину и Магнуса. Потом мимо них в комнату протиснулся Юн-в-гору, взял с ночного столика Анны банан и наставил на



нее как пистолет. Зрелище было такое смешное, что мы с Леной рассмеялись. И все остальные тоже захохотали, кроме Анны. Ей все это совершенно не понравилось, и она продолжала защищать нас изо всех своих малых сил. И только когда папа пошел в общую комнату и сел за пианино, она выпустила нас с Леной, потому что дед пригласил ее на вальс.

— Как вы нас нашли? — спросил я.

— Ты не поверишь, но когда рядом с домом престарелых стоит на привязи лошадь, что-то подсказывает мне заглянуть внутрь, — сердито ответил папа от пианино.

— А где прикажете ее парковать? — огрызнулась Лена.

Но тут глаз Юна-в-гору стал размером с блюдце.

— Дети мои, храни вас Бог, так моя лошадка с вами?

По-моему, я никогда еще не видел, чтобы старый человек так сильно радовался.

Мы провели в доме престарелых весь вечер. А на прощанье я пообещал часто приходить в гости вместе с Юновой клячей. Только сперва мама отправила нас на штрафные работы в Грини. Три дня от обеда до ужина мы должны были в поле выбирать из земли камни, чтобы мама посадила здесь капусту.

## ПОЖАР

Сделать закладку на этом месте книги

Все стало распускаться, и наступила весна. Я ощущал ее всем телом. Каждое утро я подходил к окну, подолгу смотрел в него и чувствовал, что весна совсем скоро. Как-то мы с Леной взяли с собой Крёлле, чтобы показать ей это, и все вместе пошли в хлев.

— Скоро у овец из поп вылезут ягнята, — объяснила Лена, пока я гладил свою любимую овечку по голове. Она раздулась, как надувной мячик.

Крёлле хмыкнула и дала ей пучок сена.

— А потом появится зеленая трава, и овец выпустят пастись на улице. Помнишь, как было в прошлом году?

— Угу, — сказала Крёлле.

Соврала, по-моему.



Потом мы пошли в сад, к грушевому дереву. Под ним еще не распустились подснежники, но я рассказал, какие они будут.

— Может, они появятся уже через неделю, — сказал я, и Крёлле обещала следить за ними.

Хорошо все-таки быть старшим братом. Мы рассказали Крёлле все-все о весне.

— А потом снова будет Иванов день и праздник, — сказал я. — И мы разведем на камнях огромный костер.

— А дед навалит сверху навоза! — засмеялась Крёлле.

Это ей запомнилось.

— Но вот кто будет женихом и невестой? — спросил я сам себя. И на душе засадило: бабы-тети больше нет.

— Чур, не мы, тут же встрепенулась Лена.

Дед возился со своими сетями под балконом. Крёлле рассказала ему, что мы ходили смотреть весну.

— Да, весна пришла. Правда, сегодня будет буря, похоже, — сказал дед и прищурился, вглядываясь во фьорд.

На том берегу все было черным-черно. До чего же странно стоять в Щепки-Матильды в прекрасный солнечный день и видеть, что где-то идет дождь!

Но довольно быстро погода нахмурилась и у нас. Мы спрятались в дом и до вечера ничем не занимались. Когда мы ложились спать, снаружи уже гроыхало и сверкали молнии. Я долго лежал и вслушивался в непогоду. Мне нестерпимо хотелось прокрасться в комнату Лены и забрать моего Иисуса. Разве это честно: ей с моей картиной там не страшно, а я тут умираю от страха? Но тут загрохотало так сильно, что я не улежал. Я вылез из кровати и решил пойти к маме с папой. Просто чтобы спросить, нормально ли, чтобы гремело так сильно.

В коридоре я встретил Лену.

— Боишься? — быстро спросила она, когда я вышел из своей комнаты.

Я пожал плечами.

— А ты?

Лена помотала головой. И тут я всерьез рассердился. Мало того, что она не отдает мне моего Иисуса, так еще и врет!



— Еще как боишься! Иначе почему ты в коридоре? — спросил я.

Лена сложила руки крестом на груди:

— Я шла на улицу.

— На улицу?

— Ну да. Я решила спать сегодня на балконе, чтобы вдоволь послушать эти раскаты.

У меня затряслись поджилки, но, прежде чем дрожь дошла до коленок, я сказал:

— Я с тобой!

Ой, как же мне было страшно! И хотя Ленино лицо было совершенно бесстрастно, я видел, что ей тоже страшно, даже ей. То-то же.

Гром грохотал так, что качался балкон. Мы вымокли до нитки в несколько минут, хотя сидели в спальниках под крышей. По небу то и дело пробегал зигзагом огненный сполох, и делалось светло как днем. Дождь лил, хлестал, бил и струился, было мерзко и жутко. Я никогда еще не переживал такой сильной грозы. Каждый следующий разрыв был еще сильнее предыдущего. В конце концов я закрыл руками уши и зажмурился; мне было так страшно, что я перестал различать, где верх, где низ.

Лена сидела рядом, как деревянная дева на носу пиратского галеона. Только губы сжаты в полоску. И вдруг я понял, что сейчас ей очень не хватает ее мамы. Я опустил руки. И как раз открывал рот, чтобы сказать что-нибудь, когда одновременно ударили молния и гром. Вокруг все загрохотало и засверкало, мы с Леной придвинулись вплотную друг к другу и зарылись носами в спальники.

— Лена, мы психи! — закричал я. — Пойдем в дом!

— Трилле, горит старая конюшня!

Я выпутался из спальника и заставил себя подняться. Конюшня горела!

— Юнова кляча! — крикнул я и помчался к конюшне.

Я услышал, как за спиной Лена завопила что-то на весь дом, как только она умеет вопить. А потом она заорала мне вслед:

— Трилле, не смей заходить туда!

Но я ее не слышал, Сверкала молния, хлестал ливень, горела конюшня, а внутри нее стояла Юнова кляча. Я должен вывести ее наружу.



Горела пока только крыша. Я рванул на себя дверь. Внутри все заволгло дымом, но я знал, где она стоит.

— Привет-привет, — сказал я и потрепал клячу по гриве. — Пойдем, лошадка моя, пойдем.

Но она не двигалась с места. Стояла как прибитая. Я манил, нашептывал, тянул, толкал — все без толку. Юнова кляча не шевелилась.

Можно было подумать, что она решила умереть в огне. Неужели она не понимает, что надо бежать отсюда? Я заплакал.

— Давай же, пошли! — кричал я и тянул ее за гриву.

Лошадь взбрыкивала, но не двигалась с места. Тем временем стало трудно дышать, и я понимал, что еще секунда — и мной овладеет паника.

И тут появилась Лена. Из клубов серого дыма. Она схватила меня за руку и потянула прочь, точно как я тянул запряമившуюся лошадь.

— Кляча! — только и сумел я сказать.

— Трилле, пошел вон! Крыша сейчас рухнет! — У Лены был сердитый голос.

— Лошадь! Она не хочет идти, — заплакал я, упираясь, как Юнова кляча.

Тогда Лена выпустила мою руку.

— Эта кляча глупее коровы, — сказала она, подошла вплотную к лошади и прижалась губами к ее уху.

Минуту Лена стояла тихо, кругом трещало и хрустело.

— Му-у! — замычала вдруг Лена.

И Юнова кляча рванула с места и понеслась вон из конюшни с такой скоростью, что сшибла меня с ног. Лена чуть не закипела от злости, увидев, что я упал.

— Трилле! — заорала Лена, отскакивая, потому что в это время с крыши упала горящая балка. — Трилле! — снова крикнула она.

Я не мог ничего ответить. Я чувствовал себя точно как Юнова кляча — меня парализовало от страха. Горящая балка лежала между мной и дверью.

Тут до меня добралась Лена. Она перепрыгнула через огонь, как маленькая кенгуру. Своими худыми пальцами она сжала мою руку. А потом отшвырнула меня к дверям. По-моему, она меня подняла и бросила. Я дополз до дверей. Последнее, что я



помню, — это что щека касается мокрой травы и сильные руки вытягивают всего меня из конюшни.

Вся моя семья толпилась под дождем, все кричали и метались.

— Лена, — прошептал я, нигде ее не видя.

Меня крепко держала мама.

— Лена осталась в конюшне! — завопил я, вырываясь из маминых рук. Но она не выпустила меня. Я дрался, орал и кусался, но не сумел справиться с ней. Обессилив, я усталился в открытую дверь. Там внутри осталась Лена! Она сейчас сгорит...

Тут из пламени шатаясь вышел дед с каким-то тюком на руках. Он без сил опустился на колени и положил Лену на траву.

Больницы. Я их не люблю. Но в них людей лечат и делают здоровыми. И вот я стою здесь один перед белой дверью, я пришел навестить больного.

Я постучался. Под мышкой у меня был кулек из-под карамелек. Внутри я набил весь свой запас молочных шоколадок.

— Входите! — грохнуло мне навстречу громче смешанного хора.

Лена сидела в кровати и читала комиксы про Дональда Дака. У нее была белая повязка на обритой голове. Огнем ей опалило волосы. И она надышалась дымом. А в остальном все с ней было неплохо. Все обошлось. И вообще — видеть ее живой было такое счастье!

— Привет! — сказал я и протянул ей кулек.

Лена наморщила нос, и я поспешил сказать, что внутри шоколадки.

— А клубничного варенья хочешь? — спросила она.

Спрашиваете! У Лены оказался целый склад баночек клубничного варенья. Ей приносят столько, сколько она попросит, объяснила Лена.

Пока мы закусывали шоколадом с вареньем, я расспрашивал Лену, болит ли у нее голова, как самочувствие и все такое, о чем разговаривают с больными. Голова болела не сильно. Лена хотела поскорее домой. Но в больнице говорили, что ей нужно полежать у них еще день или два, что они хотят понаблюдать за ней.

— Это правильно, наверно, — сказал я, понимая врачей.





Над ее кроватью висел мой Иисус.

— Лена, — пробормотал я.

— Чего?

— Спасибо, что спасла меня.

Она не ответила.

— Это очень храбрый поступок.

— Да ладно, — сказала Лена, отвернувшись. — Пришлось.

Ну как сказать — пришлось, подумал я, но прежде чем мои мысли двинулись дальше, Лена сказала:

— Я ж не хотела, чтоб мой лучший друг сгорел там с концами.

После этого я долго не мог сказать ничего.

— Лучший друг... — пробормотал я наконец. — Лена, а я твой лучший друг?

Лена посмотрела на меня, будто это я здесь больной.

— Ну конечно, ты! А кто, по-твоему? Кая-Томми?

Как будто большой камень упал откуда-то сверху в низ живота. У меня есть лучший друг!

Лена сидела себе на кровати, лысая с забинтованной головой, и вылизывала уже следующую баночку из-под клубничного варенья. Она не подозревала, как она только что меня осчастливила!

— Мне кажется, что с этого дня коленки у меня будут дрожать гораздо реже! — сказал я и улыбнулся.

В этом Лена сомневалась.

— Но ты очень храбро полез в конюшню за этой глупой клячей, — сказала Лена. — Ой, кстати, Трилле, я посваталась.

— Ты? К кому?



И Лена рассказала, что утром она лежала здесь в больничной кровати и притворялась спящей, а по бокам кровати сидели ее мама и Исак и стерегли ее сон. Они разговаривали о любви, о Лене и о Щепки-Матильды. Лена поняла, что Исак вообще-то не против перебраться в Щепки-Матильды, если до этого дойдет. Он слышал, что там можно разобраться в подвале, сказал он.

— Трилле, но они только ходили вокруг да около и никак не могли перейти к делу, — объяснила Лена. — Поэтому у меня лопнуло терпение, и я открыла глаза.

— И? — нетерпеливо спросил я.

— И сказала: «Исак, ты хочешь на нас жениться?»

— Ты так спросила? А он?

Лена опять посмотрела на меня странно.

— Конечно, он сказал «да».

Она засунула в рот шоколадку и стала пускать довольные пузыри.

— Лена, так у тебя будет папа! — радостно закричал я.

ИВАНОВ ДЕНЬ: ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Сделать закладку на этом месте книги

Снова наступил Иванов день, и все было готово, и все было отлично. Я стоял в своей комнате у распахнутого окна и любовался нашим королевством. Какое счастье, что бывают такие дни! С морем, солнцем и свежескошенными лугами.

— Лена! Пошли гулять!

И хотя сегодня играли свадьбу и день был особенный, мы с Леной просто растворились в лете, сбежали — и все. Чем только путаться у всех под ногами и всем мешать, гораздо лучше пробежаться наперегонки по лугу.

— Трилле, ты тормоз, — просипела Лена, когда мы одновременно добежали до моря.

Кто еще тормоз, подумал я, но вслух не сказал.

А потом мы плескались водой и кидали водоросли в стену сарая. Потому что водоросли так здорово шмякаются о стену. Потом мы прыгали по камням и допрыгали до дома дяди Тора, и Лена ловко спрыгнула в лодку и засунула одуванчик в замочную скважину каюты.

Телки паслись неподалеку.



— Как ты думаешь, а можно скакать на корове? — спросила Лена.

Оказалось, можно.

Лена считала, что теперь, когда у нас в бухте появился свой доктор, мы можем больше рисковать. И хотя мы обещали дяде Тору никогда не трогать его телок без разрешения, мы их, конечно, взяли покататься. И все, конечно, пошло наперекосяк. Шум, крик, суета...

Но к вечеру отмытая от навоза и заклеенная пластырем Лена надела на себя платье, потому что сегодня был Иванов день, и свадьба, и праздник, и ради этого Лена готова была пойти почти на любые жертвы.

— Да, — ответил Исак, когда пастор спросил, хочет ли он жениться на маме Лены.

— Да, — ответила мама Лены, когда пастор спросил ее.

И Лена тоже громко и важно сказала свое «да», хотя ее никто не спрашивал, — но ведь правда, что этой свадьбы никогда бы не было без ее сотрясений мозгов.

Костер мирно потрескивал, вечер был тихий и теплый, а на берегу в Щепки-Матильды собралось столько народу, сколько никогда еще не собиралось.

— Тебе кажется, что в этом году невеста красивее, чем в прошлом? — спросил дед.

Он в парадном костюме и с кружкой кофе сидел на камне чуть в стороне ото всех.

— Немножко, — честно ответил я, потому что мама Лены была красавица, каких я не видал.

— Хм, — хмыкнул дед и надулся.

— Ты думаешь о бабе-тете? — спросил я. — Тебе не хватает ее сегодня?

— Немножко, — ответил дед и стал крутить в руках кружку.

Я стоял, смотрел на него и чувствовал, как сердце переполняется и растет в груди — оно уже с трудом помещалось в ней. Мне хотелось подарить деду все-все, что только есть в мире самого прекрасного. И вдруг я понял, что нужно сделать. И незаметно ушел с праздника и вернулся в дом.

В квартире деда была приветливая полутьма. Я забрался на стол у мойки и вытянулся во весь свой рост. Она стояла на самом верху кухонного шкафа — вафельница бабы-тети. Я снял ее и немного постоял, баюкая ее в руках. А потом зашел в дедову спальню. В его молитвенник была вложена мятая пожелтевшая бумажка. «Вафельное



сердце» — было написано сверху красиво, как в старые времена. Так вот, оказывается, как называются вафли бабы-тети — «вафельное сердце».

Я не очень хорошо умею печь, но я прилежно следовал всем указаниям рецепта, и скоро на столе уже стояла большая миска с тестом. Как раз когда я собрался начать печь вафли, дверь с шумом распахнулась.

— Чем это ты тут занимаешься? — подозрительно спросила Лена.

Потом она увидела вафельницу.

— О...

— Тебе, наверно, надо возвращаться на свадьбу, — сказал я неуверенно, потому что мне хотелось, чтобы Лена осталась. — Все-таки твоя мама замуж выходит.

Лена впилась взглядом в вафельницу.

— Мама сама отлично справится, — сообщила Лена и с прежним стуком закрыла дверь.

Я никогда не забуду, как мы с Леной пекли для деда вафли в Иванову ночь, пока на берегу фьорда настоящие жених и невеста играли свадьбу. Мы сидели напротив друг дружки по обе стороны стола и больше молчали. С моря доносилась музыка и радостный гул голосов. Я наливал тесто, Лена снимала готовые вафли.

— Я теперь отдам тебе твоего Иисуса, — сказала вдруг Лена.

Я смутился и от смущения капнул теста мимо вафельницы.

— Спасибо, — сказал я радостно.

Когда мы уже кончали печь, пришел дед. Он ужасно удивился, увидев нас. И еще больше — когда понял, чем мы занимаемся.

— Сюрприз! — завопила Лена так, что обои стали отходить от стен.

А потом мы ели вафли «вафельное сердце» в первый раз после смерти бабы-тети — дед, Лена и я. Я совершенно уверен, что она смотрела на нас с неба и улыбалась. И дед тоже улыбался.

— Дружище Трилле и соседская кнопка, а, — ласково приговаривал он иногда и смешно качал головой.

Съев семь больших вафель, дед заснул на стуле. Он привык ложиться рано. Мы с Леной укрыли его одеялом и ушли.



Мы с ней залезли на тую. У воды все продолжался праздник. В свете белой ночи мы неясно различали, что там происходит.

— Ну вот, теперь у тебя тоже есть папа, — сказал я Лене.

— Да, черт побери, есть! — ответила Лена и запихнула в рот последнее вафельное сердце.

А у меня есть лучший друг, подумал я с радостью.

#### ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

1 ст. муки, 3 яйца, 150-200 г. маргарина, 1ст. сахара, 1 ст. молока.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте растопленный маргарин, молоко, в последнюю очередь муку.

Хорошенько перемешайте.

У вас должна получиться однородная масса без комков.

Выпекайте вафли по 2-3 мин, пока они не станут золотистыми.